
СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ РАССКАЗ

Федор Ошевнев
(г. Ростов-на-Дону)

ВЕРУЮЩИЙ БАТЮШКА



Наш постоянный автор, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

Плох тот диакон, который не мечтает стать священником, хотя упоминать и даже думать об этом среди церковников считается греховным. Мол, подобное самообольщение отнимает время, отпущенное Господом для спасения души.

Однако сын протоиерея одного из соборов южного российского города Владислав Кураков в глубине сердца мечтал. Собственно, будучи потомком духовного лица, он попросту не мыслил себе иной жизненной дороги. И еще характерно, что с раннего детства мальчик отличался глубокой рассудительностью.

В первый раз в первый класс — в семьдесят восьмом году — он пришел, ведомый за руку не только матерью, но и отцом, тогда еще совсем молодым батюшкой, облаченным в рясу. И, разумеется, уже потому обратил на себя особое внимание — как своей учительницы, так и директора школы.

Миновал месяц, и однажды она задержала Владика после занятий.

— Вот ты говоришь, что Бог есть, а наши космонавты, сколько ни летали, никогда его не видели,— авторитетно заявила она.— И почему?

— А для Бога космический корабль — это только малю-усенький из многих-многих коридорчик. Потому они Всевышнего из него и не видят. И никогда не увидят, если еще и не веруют,— был неожиданный ответ.

Учительница сразу не нашлась как возразить и сухо произнесла:

— Иди...

С ровесниками мальчик держался несколько обособленно, полагая, что среди них он по-своему избранный. Но, когда требовалось постоять за себя, стоял, и до конца. Лишь изначально обязательно крестился. И одноклассники быстро усвоили: если уж он это сделал, быть битве серьезной...

После школы — учеба в Ставропольской духовной семинарии. А перед самым поступлением в нее — так было угодно свыше — Владислав потерял мать. Она еще с детства страдала сердечной недостаточностью. И за год так и не смогла оправиться от обширного инфаркта, случившегося, когда сыну исполнилось шестнадцать.

В двадцать один год Кураков был рукоположен в диаконы. И во славу Господа начал путь служителя алтаря в старинном храме — небольшом и уютном, окрашенном в голубые тона, с шатровой звонницей и протяженным притвором, отделанным настенными росписями. Сам храм когда-то возвели на краю основанного задолго до революции кладбища. В середине тридцатых его полностью снесли и похоронили под масштабными производственными строениями. С тех пор об уничтоженном погосте напоминало лишь несколько давних могил, волею случая оказавшихся внутри церковного двора.

Прошло немало лет, пока к ним неожиданно прибавилась еще одна.

Тогда по заданию настоятеля углубляли подвал под храмом (там новые шкафы по высоте не помещались) и случайно пробили внутреннюю каменную кладку, оказавшуюся перегородкой. За ней открылась потайная комната, на глаз три на три метра. Посреди нее лежали два скелета с простреленными черепами и в полуистлевшей казачьей форме. С погонами сотника и подьесаула — голубые просветы на серебряном поле, указывающем на принадлежность к войску Донскому. Убиенных перезахоронили в одной могиле и отпели.

Случай этот произвел на Куракова весьма гнетущее впечатление: насколько же сугубо бесчеловечным надо быть, чтобы вершить казнь в святилище, под сенью креста! А семьи погибших явно остались в полном неведении их ужасной судьбы.

Однако сравнительно молодой еще на тот момент диакон в углу тайника углядел обрывки плотного картона: это оказались остатки паспарту — специальной картонной рамки под снимок. Куски его за без малого век сильно выцвели, приобретя коричневатый оттенок. Аккуратно склеив полосками скотча фото и вооружившись лупой, Владислав разглядел на нем семейный портрет. Сидящий закинув ногу на ногу молодой мужчина в казачьей повседневной форме имел ярко выраженные надбровья, крупный подбородок и широкие усы стиля «шеvron». Рядом, с ребенком полтора-два года на руках, наряженным в матросский костюмчик, стояла приглядная женщина. С овальным лицом, прямым пробором на идеально гладких волосах и косой, уложенной на затылке корзиночкой. Одета в светлые юбку и блузку с богатой отделкой.

На обороте снимка трудно прочитывалась чернильная надпись: «Дорогому супругу и батеньке Платону Акимычу от жены Настасьи и сына Димитрия. Станица Новойдарская 1914-го года 16-го ноября». Здесь же имелось мастичное клеймо мастера, заключенное в прямоугольник: «Фото В. Квасова».

Пытаясь установить личность хотя бы одного из казненных, Кураков с благословения настоятеля обратился в епархиальный отдел по работе с казачеством. Сотрудники его связались с Новойдарской, и вскоре Владислав выехал туда на автобусе. Атаман тамошнего казачьего общества — дородный мужчина с погонами есаула — привел диакона к старейшему из жителей станицы. Владислав предъявил иссохшему древнему деду улучшенный фотошопом снимок.

Долгожитель нацепил очки, подслеповато прищурился.

— Да это же... Это Дмитрий Забазнов, друг детства мой, и с родителями, перед тем как отцу его на империалистическую отправляться. Говорили, приезжал он, кажись, в шестнадцатом в отпуск. Уже в чине подьесаула, с двумя «георгиями». А потом без следа сгинул. Ну, я о ту пору мал был, сам его не помню. Вот фотография у тетки Настасьи точь-в-точь такая же под образами в рамочке висела. Упокоились они давно — и мать дружка моего, и он сам. С Отечественной-то с большими легкими вернулся. Все кашлял, кровью харкал, потом исходил и едва за полста лет перевалил. Еле успел послевоенную дочку в техникуме выучить. Она сама, как на пенсию вышла, сразу к сыну в область и перебралась...

Дед взглянул еще раз на снимок, совсем по-детски шмыгнув носом.

— Чую, свидимся мы скоро, вышло и мое времечко. Эхх! Как и не жил...

Спустя несколько дней Кураков принимал в храме гостей: интересную пожилую женщину с прической а-ля Маргарет Тэтчер и розовощекого полнеющего мужчину лет тридцати.

Возложив на казачью могилу охапку редких черных калл, таинственных и элегантных, потомки подьесаула отстояли панихиду, поставили заупокойные свечи, пожертвовали храму круглую сумму. И все душевно благодарили дьякона за разгадку тайны их рода и обретение могилы предка.

А имя павшего за Россию его сослуживца так и осталось неизвестным...

Кому-то из диаконов счастливится подняться рангом выше и стать священником чуть ли не на следующий день после первого рукоположения, а кому-то предстоит надолго задержаться на уровне низшего духовного сана. На все воля Божия. Ну и людская тоже.

Когда-то, в самом начале приснопамятной перестройки, несколько прихожан обратились к отцу Владислава: а не согласится ли батюшка баллотироваться депутатом в районный орган местного самоуправления, так сказать, самовыдвиженцем? Паства же, мол, и поддержит, и разрекламирует. Тогда протоиерей — скажем так, не очень продуманно — письменно испросил разрешения на это чуждое действие у каждого из постоянных членов Святейшего Синода.

Официального ответа ни от кого из них он не получил, но этот вопрос на заседании Синода разбирался, и в итоге священника едва не лишили сана (с перевесом в его пользу лишь в два голоса). Посчитали, что гордыня обуяла, раз в мирские дела ввязаться восхотел. А чтобы впредь всяк сверчок знал свой шесток, покарали, услав в далекий райцентр, в маломощный и скудный приход.

«Сын за отца не отвечает»,— сказал еще до войны на совещании передовых комбайнеров товарищ Сталин, и эту знаменитую фразу немедленно и широко растиражировали советские газеты. Но последовавшие репрессии, увы, ее не подтвердили: в серпастом обществе ответ за родителя держать приходилось практически всегда. А священнослужителям — пусть даже и высокого сана — ничто общечеловеческое не чуждо. Вот потому-то, когда, не единожды за многие лета, на епархиальном уровне обсуждался вопрос рукоположения диакона Владислава, кто-то обязательно вспоминал: «Это ведь у него отца за малым не расстригли?»

И — общее резюме: «Пока подождем...»

К слову: хотя всякое сравнение и хромает, однако подобное поведение служителей культа отчасти походило на детскую склонность переносить личную неприязнь к какому-то учителю на его предмет.

«Всякая власть от Бога». Знаменитейшие слова апостола Павла. Библейская аксиома. Так что неупустительно исполнявшему свои, согласно сану, обязанности диакону оставалось только смиряться и терпеливо ждать... ждать... ждать...

«Летят года неуловимо, куда-то быстро вдаль спешат, торопят нас неудержимо законы Божии познать...» Отец Владислав даже и не помнил, где и когда прочел он эти бесхитростные строки, глубоко врезавшиеся в память. А года действительно летели... И вот уже минуло более двадцати лет церковной службы, близилась дата серебряной свадьбы — «окольцевался» Кураков еще будучи семинаристом,— и дочь, окончив вуз, невестилась, а младшенькие, мальчишки-близнецы, доросли до старшеклассников, постаревший же отец теперь часто прихварывал. Склонный к полноте служитель подобрел, широкоскулое лицо его совсем округлилось, а вдоль развитого лба обозначились короткие морщины. Появились и вертикальные складки над основанием крупного, с маленькой горбинкой носа. Симптом зарождающейся

ся аритмии сердца: у матери Владислава они после инфаркта были выражены особенно сильно.

К этому времени засидевшийся в диаконах человек устал безропотно ожидать рукоположения, и его матовые глаза минорно взирали на белый свет. Нет, бунтовать он вовсе не собирался. Он просто устал...

И вдруг — исполнение давней, еще детской мечты, с которой человек с дошкольных лет следовал по жизни, произошло не во сне, а наяву!

Хотя, конечно, «вдруг» — сказано неточно: этому предшествовала беседа с архиереем, объявившим Куракову об избрании его для хиротонии, затем «ставленническая исповедь» у духовника духовенства, в заключение которой отец Владислав смиренно просил о даровании ему непорочного священства, последующее говение...

Августовским воскресным днем, на литургии святого Иоанна Златоуста, церемония рукоположения, внушительная и торжественная, наконец содеялась.

«Аксиус!» (с греческого: достоин) — произнес в завершение ее архиерей, а преклонивший колени теперь уже бывший диакон ощутил прикосновение благословляющей его десницы и под торжественное пение хора, трижды повторившего это восклицание, получил из рук владыки атрибуты служения священника: епитрахиль*, пояс, фелонь**, наперсный крест и Служебник***, отныне став иереем. Трепетно и с непередаваемыми словами чувствами поцеловал он каждый из этих символических предметов и невольно прослезился. Совершилось!

По окончании таинства не обошлось, конечно, без традиционного в таких случаях основательного застолья.

Впрочем, все это было вчера. А сегодня утром новоявленный батюшка — пока еще в гражданском облачении — сошел с маршрутки и без четверти десять шагнул на столь знакомый церковный двор. Перед центральным входом в храм привычно осенил себя крестом и прошествовал в отведенную ему келью, располагавшуюся в отдельно стоящем здании хозяйственных построек.

Там вновь перекрестился: теперь на иконы, двумя рядами висевшие на дальней стене довольно просторной комнаты на три небольших окна, облачился в песочный подрясник и черные туфли и взглянул на часы — близилось время приема прихожан и других лиц. Попутно отец Владислав отметил: хотя отныне обязанности его стали иными, чего-то особенного, подспудно ожидаемого им в первый день своей службы Господу в новой ипостаси, вовсе не происходило.

Собственно говоря, а что именно следовало бы ожидать?

Ранее Куракову в подобных приемах напрямую участвовать не приходилось: не диаконовский это ранг. Вот молча слушать, как первый его настоятель ведет беседы с людьми, мудрости набираться да стараться таковую перенимать — это, конечно, куда легче. А тут — за всех и вся в ответе сам. Потому и волновался иерей: а вдруг да с каким необычным вопросом обратится кто-либо? Впрочем, на крайний случай всегда можно посоветоваться с опытным батюшкой — именно он сегодня по графику был дежурным священником в храме и вел богослужения.

Но никаких сюрпризов нынешний день пока не обещал. Прихожане спрашивали благословения на рождение отроча (ребенка) или на сдачу вступительных экзаменов в вуз, кто-то желал освятить квартиру, другой — икону, договаривались по времени

* Епитрахиль — длинная раздвоенная лента, огибающая шею священника и соединенными концами спускающаяся на грудь.

** Фелонь — длинное широкое одеяние священника без рукавов, с отверстием для головы, вырезами спереди для рук, украшенное крестами (крестчатая риза). Своим видом напоминает ту багрянцу, в которую был облачен надругавшимися над ним воинами страждущий Спаситель.

*** Служебник — книга, содержащая основные богослужебные тексты, произносимые священником; неперменный атрибут для совершения литургии.

о крестинах младенца, а пожилая супружеская пара наконец-то надумала венчаться. Однако вот и трагический случай: «Батюшка, у меня сын двадцатилетний разбился на машине, сейчас в реанимации в тяжелейшем состоянии. Умоляю: научите, что делать дальше?»

И каждому надлежало разъяснить, дать совет, успокоить...

Когда все просители наконец разошлись, отец Владислав вышел на церковный двор: проветриться и обозреть, все ли на храмовой территории в надлежащем порядке. Вскоре ноги привели его в маленький садик, в глубине которого располагались пять сохранившихся вековых могил и казачья, недавняя.

На одном из старых захоронений высился исполненный в неординарном, масонском стиле гранитный памятник в виде толстого ствола дерева с двумя отпиленными по бокам суками. Венчался он четырехконечным, из того же вечного камня, крестом. На срезах сучков выбиты надписи: «Спаси, Господи, душу раба Твоего» и «Мир праху твоему», а в центре ствола — вырубленная ниша со стеклянной, в металлической рамке дверкой: под лампадку. Под нишей же красовалась ритуальная и опять-таки сработанная из гранита табличка, внешне походившая на старинную грамоту со слегка заворачивающимися краями. Текст на ней гласил: «Здесь покоится прах раба Божьяго коллежскаго асессора И.А. Кафтановскаго, скончавшагося 25 апреля 1890 на 51 году».

— Здравствуйте, батюшка...

Отец Владислав повернулся влево: перед ним стоял маленький тощенький мужчина неопределенного возраста: то ли тридцать, то ли за сорок. Смущало сильно морщинистое и осунувшееся, плохо выбритое лицо. Но седина, даже на висках, вовсе не проглядывала. Серая рубаха, похоже, специально наполовину расстегнута, чтобы на хилой, но выпяченной груди хорошо был виден простенький нательный крестик. Очердной прихожанин? И следом мелькнула мысль: вот именно таких невзрачных мелкотравчатых мужичков на Руси издавна прозывали фуфлыгами.

— Здравствуй.

— Можно ли к вам обратиться?

— Обращайся, пожалуйста.

— Помогите, батюшка, чем можете, материально. Жена очень больная, после сильного инфаркта почти не ходит, только, пардон, до горшка. На лекарства бы...

Обычно священники денег прихожанам не дают, а советуют молиться, и Бог, мол, тебе поможет. Но сегодня иерей без раздумий решил сделать исключение: ведь послезавтра исполнялось двадцать пять лет со дня кончины его матери, слишком рано ушедшей в лучший мир, и от той же самой летальноисходчивой сердечной болезни, которой хворала жена просителя.

Отец Владислав молча достал бумажник и вынул из него единственную тысячную, оставив лишь три или четыре медно-стальных десятирублевика — чисто на проезд. Нет, дома-то еще деньги наличествовали. Но именно на эту имеющуюся при себе «штуку» Кураков сегодня вечером рассчитывал приобрести колбасы-ветчины-сыра-селедки на поминки.

«Ладно, как-нибудь обойдемся. На благое дело ведь. Такой же страдалице, как и матушка была. А продукты... Что ж, в конце концов, еще завтра день будет, успеем закупиться», — подумал он.

— Спаси Господи, батюшка, за вашу доброту и помощь,— жадно цапнул крупную купюру тощенький.— Благословите на покупку лекарств.

— Бог благословит,— отвечив иерей, и даже обещание-то не стал брать, что не на предосудительные дела благоподаяние употребится.

Проситель быстренько упрятал деньги во внутренний карман пиджака, для на-

дежности еще и застегнув его на булавку. И вдруг, сверх всякого чаяния, произнес, указуя на гранитное «суковатое» надгробие:

— Батюшка, а ведь здесь мой родственник лежит.

— Откуда ведомо?

— У меня прабабка почти век протянула — и чудное дело: все на своих ногах, — так уверяла, что это дед ее был. Только не родной, а двоюродный, родному-то он почти в отцы годился. Совсем пацаном меня сюда в церковь приводила и могилку предьявляла. Я это «дерево недеревянное» с закидонами, — кивнул тощенький на монумент, — по его кошмарности враз упомянул... — И неожиданно подытожил: — А прабабка до чего набожна была — прямо страсть!

— Уважения достойно, — заключил отец Владислав, изумившись: надо же, насколько тесен оказался мир поднебесный! Насчет «недеревянного дерева» и «кошмарности» он выговаривать не стал, памятуя, что горбатого могила исправит.

Удовлетворенный проситель для приличия потоптался еще с полминуты.

— Ну, я пойду?

— Иди с миром...

Тощенький скорым шагом удалился. А священник вновь воззрился на столь необычной формы памятник.

«Видать, не из бедных покойный-то был, коль ему на этакую вычурность расстались, — подумалось иерею. — Интересно, коллежский асессор — это высокий считался чин? Надо бы в Интернете глянуть... Полвека жизни... Немного, однако, он намерил. Удалось ли детей пережить? А собственно, были они у него? Одному Господу нынче ведомо... И сколь нагрешить успел и успел ли исповедоваться... Эх, жизнь наша скоротечная! Зато гранит второй век незбылем стоит. Но тоже: от всеобщего кладбищенского порушения лишь чудом уцелел...»

Кураков повернулся к соседствующей казачьей могиле: на деревянном кресте ее теперь была установлена пластиковая, с окантовкой табличка серебряного оттенка с черным текстом: «Подъесаул войска Донского Забазнов Платон Акимович. 1889 — 19??» — и ниже: «Сотник войска Донского. Фамилия неизвестна».

«Обидно: так второй офицер безымянным и лежит, — оформилась у отца Владислава новая мысль. — Тут атаман ничем не помог: видать, этот убиенный из другой станицы был родом. А из какой — опять только Господу известно. Но хотя бы останки теперь в земле покоятся, родственники же подъесаула уход за последним пристанищем воинов блюдут. Вот совсем недавно опять каллы на могилу возлагали, панихиду заказывали».

Тут к размышляющему о телесной брэнности и долговечности монументов подошла пожилая свечница, которая лет десять уж как работала в церкви.

— Батюшка, извиняюсь, у вас спросить можно?

— Спрашивай.

— Вот к вам сейчас мужчина такой мелковатый подходил, он денег просил?

— Да.

— И вы дали?

— Да.

— Ох, не на доброе дело он их у вас выцыганил!

— *«Не судите, да не судимы будете»*. Он для больной жены, на лекарства.

— Батюшка, да он сроду никогда женат не был! Я ж его как облупленного знаю!

По соседству живет. Бездельник и горький пьяница, креста на нем нет!

— Так имелся ведь.

— Значит, для блезиру нацепил. Он в церковь-то и носу никогда не кажет! А тут — сподобился. Видать, узнал откуда-то про ваше рукоположение и момент выиг-

рышный подгадал. В свою пользу. Ну а когда со двора-то поспешал, увидел меня у ворот, приостановился да и заявляет: мол, батюшка-то новый ваш — и дальше с издевкой в голосе, — сильно верующий оказался. Я ему: «Окстись, охальник, а каким же ему еще быть?» А этот алкоголик ухмыляется и ответно: «Да я в том плане, что всякому встречному-поперечному сразу-то верить не след». И помчался — небось до ближайшего гастронома, побыстрее зенки залить.

— Что ж... Бог ему судья, — только и вымолвил священник, разом ощутивший душевную смуту: ведь на чем удалось сыграть грешнику! На святом, на памяти о самом близком и родном человеке!

...Спустя двое суток, аккуратно в день поминовения матери, свечница с утра вновь подошла к отцу Владиславу.

— Батюшка, можно обратиться?

— Пожалуйста.

— Помните, у вас позавчера мой сосед неблагополучный денег выпросил?

— Помню, конечно, — поморщился иерей: придумала же баба опять на больную мозоль наступить! И к чему?

— Ну так вот: не пошли они ему на пользу. Он в тот же день какой-то дряни паленой опился и к ночи помер. Сегодня похороны.

— Да-а-а, — поразился отец Владислав. — Надо же, насколько быстро его Божий гнев настиг. Господь ведь все видит и никогда не бывает поруган.

Про себя же он подумал, что поскольку не признающих Бога и Он не может спасти, а в их числе и опочившего, то пусть останется это на Его воле. Другое дело, что дающий не во благо грех берущего разделяет. Посему помолиться за новопреставленного, в гибели которого, сам того не желая, оказался повинен, в любом случае необходимо. И хотя не дано понять, за что именно столь тяжко наказан, а с этим трагичным уроком как-то и дальше по жизни идти надобно.



Николай Макаров
(г. Тула)

ПЕРВЫЙ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК» АФГАНИСТАНА



Наш постоянный автор, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

*Райский Борис Евгеньевич,
родился 23.03.1952*

С какой вероятностью человек сам себе может предсказать свое будущее? Никто не пробовал быть оракулом своего будущего? Я лично не пробовал. По правде говоря, и среди своих знакомых и сослуживцев по Воздушно-десантным войскам таких людей почему-то не встречал. И вдруг...

...С Борькой, с Борисом Райским, с Борисом Евгеньевичем (прапорщик, старший прапорщик, «дембель», старший инспектор пожарного надзора Тульского отделения железной дороги) я знаком с тысяча девятьсот восемьдесят второго года, когда из Ставропольской десантно-штурмовой бригады (а до этого — учеба в Тульской школе № 16, учеба в элетромеханическом техникуме имени Рогова, срочная в Пензенском автобате, школа прапорщиков) он пришел служить техником роты химической защиты в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Краснознаменную ордена Кутузова 2-й степени дивизию.

— Борис, подробнее расскажи о своем предсказании,— прошу своего давнего знакомого, с которым последние, нет — не последние, а крайние месяцы каждую неделю договариваемся увидеться и его неотложные дела все откладывали и откладывали нашу встречу. В первый день его отпуска все-таки наша встреча состоялась и его слова после объятий и приветствий чуть не испортили наше общение: «Завтра вызывают срочно на работу, а сегодня у меня свободных всего тридцать минут». Тридцать — так тридцать, для первого раза хватит и тридцати минут.

— О предсказании,— напоминаю ему.

— Прилетаю в Баграм (*Афганистан, 345-й отдельный гвардейский парашютно-десантный полк, 1985 год: примечание автора*), и меня сразу ошарашивают, не успев даже распаковать чемоданы, мол, собирайся — на «боевые». На «боевые», так — на «боевые». Сдаю в штабе документы, аттестаты всякие. Сдал и выхожу из штаба с какими-то, сейчас и не помню с какими, бумагами в руках. Навстречу прапорщик-«старожил».

— Куда направили?

Отвечаю ему, не задумываясь и не думая о последствиях:

— В Кабул, начальником железнодорожной станции! (*Ровно через десять лет «оракул» — «дембель» Райский придет работать на железную дорогу: примечание автора*).

— Умеют, даже здесь, в Афгане, устраиваются эти евреи,— следует реплика «старожила».

К обеду мужское «сарафанное» радио — ничуть не хуже женского — по всему полку разнесло эту сенсационную новость. Все завидовали «еврею» Райскому и только майор Токмаков, наш, тульский, Царствие ему небесное, ехидно у меня поинтересовался, зная в отличие от других промышленный потенциал Афганистана:

— Борис, где же ты нашел в Кабуле железные дороги? *(В то время, да и сейчас, наверное, в Афганистане длина железнодорожного полотна составляла около шести километров на севере страны: примечание автора).*

Смех стоял по всему полку. Но и новые мои сослуживцы не остались в долгу.

— Поясни.

— Как ты знаешь, первое воскресенье августа — День железнодорожника. В том году, не помню: то ли на субботу, то ли на воскресенье выпал День ВДВ — второе августа. И на торжественном собрании, посвященном, ясное дело, нашему родному празднику, мне вручают Грамоту с подписью командира полка и гербовой печатью части.

— И?

— Грамоту «Первому железнодорожнику Афганистана!». Клуб ревел, стонал в экстазе хохота — это надо было видеть. Ответил, как и положено: «Служу Советскому Союзу!». Жаль — ту Грамоту не сберег, сейчас бы была реликвией.

— Обещанные «боевые».

— На следующий день по прибытии я со своим взводом *(старший прапорщик Райский командовал взводом спецработ ремонтной роты полка: постоянные сопровождения колонн со всеми нюансами и непредвиденными обстоятельствами партизанской войны в горах: примечания автора)* и ровно год и семь месяцев постоянные «боевые», ни одной операции не пропустил. В последние, крайние то есть, до замены пять месяцев «боевых» стало меньше.

— Специфика службы во взводе спецработ.

— Представь, движется колонна техники, «духи» подбивают машину, колонна продолжает движение, взвод спецработ остается с подбитой машиной. Выставляется охранение на господствующих высотах и личный состав взвода «колуется» с этой машиной.

— Пример.

— Сопровождаем по бездорожью через три брода до серпантина горных дорог колонну почти из ста машин наших «зеленых» братьев *(афганская колонна со всевозможным грузом: примечание автора)*. Аккурат на середине первой речки подбивают одну машину. Колонна уходит дальше. Цепляем тягачом, как и положено, за буксировочный крюк подбитую машину — бампер вырывается с корнем. Цепляем за передний мост — мост вырывается с корнем. Не приспособлены машины немецкого производства к таким передрягам. Перегружаем груз — рис в мешках — на другие, подошедшие машины. На второй переправе повторяется такая же картина — «духи» опять подбивают машину на середине речки. Проверяем груз — сахар, сахарный песок. Цепляем сразу за передний мост — передний мост волочит на тросу, машина мертвым грузом остается на середине речки. По рации связываюсь с командиром роты — тут же четыре БТР из охранения «слетают» с гор, весь сахар перегружается в них. Дело сделано — ночью сахар переправляется в полк. Утром нашу колонну сопровождения перед КПП полка встречает представительная комиссия из политработников и особистов — следов сахара нигде нет.

— Среди вас оказался дальний родственник «Павлика Морозова»?

— «Зеленые» братья наступали, но сахар так и не нашли.

— Сахар, конечно, пошел по прямому назначению?

— О чем «базар». Ты помнишь, что в Афгане, по крайней мере — в Баграме, бутылка водки стоила 50 чеков, а получка у нас — 260 чеков. А «боевые» — постоянно, постоянно стресс, тем более, что у нас был свой, полковой хлебозавод и немеряно дрожжей. И в моем взводном хозяйстве стоял официально разрешенный самогонный аппарат.

— Заливаешь, «Почетный железнодорожник Афгана»?

Он ничуть не обиделся:

— Все аккумуляторы полка находились у меня на обслуживании, а им, как известно, нужна дистиллированная вода. Днем аппарат работал исключительно по своему прямому, по заверенным документами, назначению, а ночью во всю мощь пахал по своей второй профессии.

— «За отвагу»?

— Вспоминать жутко. Одним словом: доставали девятую роту со знаменитой высоты. Мы — что? Мы вытаскивали технику, покореженную технику.— Бориса перевернуло от нахлынувших воспоминаний.— За эту операцию я и получил медаль «За отвагу».

— Красная Звезда?

— За участие в двух операциях Пандшер-1 и Пандшер-2. На втором Пандшере меня и зацепило, минно-взрывная травма, одним словом. Естественно, медсанбат. Естественно, очередные «боевые» и... личный состав моего взвода отказывается идти выполнять приказ без своего командира, идти с «чужим» прапорщиком. Всем взводом пришли меня в медсанбате упрашивать — так и пришлось идти на «боевые» недоленным.

— Незаменимый, что ли?

— Заменяемый, заменяемый, но за два года постоянных «боевых» в моем взводе ни одного «двухсотого», всего — два легких ранения. Это — при том, что наш, 345-й полк, называли полком «смертников». Солдаты, их матери до сих пор мне письма пишут, благодарят за Афганистан. Один всего случай. После очередной зачистки местности войска располагаются на берегу речушки недалеко от кишлака, рядом виноградник. Солдаты спрашивают у меня разрешения набрать ведро винограда. Разрешаю. Набрали. Поели. Утром, а я всегда Там вставал в четыре утра, вижу, как молодой солдат из взвода с двумя ведрами направляется к винограднику. Остановил. Поднял «дембелей» — они послали, кто еще? — и популярно объяснил всем чреватость последствий их необдуманных действий. Популярно объяснил, невзирая на ропот и недовольство «дембелей», иллюстрируя наглядным, только что, на их глазах, случившимся примером.

— Что за пример?

— Из соседнего подразделения, тоже контингент «дембелей», послал за виноградом «салагу» и нет у солдата стопы — растяжка стояла у виноградника. Местные жители — не дураки, хотя в этом кишлаке и относились к нам лояльно. Но кому понравится, если к тебе в огород постоянно нагло лезут за урожаем непрошенные гости?

— Третья награда?

— Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени — по совокупности за весь Афганистан. Что хочу сказать? Ведь там, за Речкой, прошли мои лучшие годы службы в Армии, есть, что вспомнить, что рассказать. Как-нибудь я тебе обо всем расскажу, но на это надо много времени и...

— И водки, — перебиваю Райского.

— Какой водки? Все, с этим завязано раз и навсегда — к времени-то надо еще и настроение соответствующее.

— Это — понятно. Как написал Михаил Веллер: «После пятидесяти пить, курить и...»

— Ходить «налево», — теперь он перебивает меня.

— Нет, третье у Веллера: «...копить деньги теряет всякий смысл». — Борис смотрит на часы. — Пару слов о теперешней работе.

— После увольнения приятель, работающий на железной дороге, предложил освободившуюся кстати должность пожарного инспектора. Прихожу к начальнику, начинает спрашивать меня по технике противопожарной безопасности. Выложил ему по первое число — у того от удивления глаза на лоб полезли: откуда все знаю, специально что ли готовился к собеседованию. Ты же знаешь, в роте за всю документацию, за всю работу по технике безопасности, в том числе и по противопожарной, каждые полгода приходилось отчитываться перед проверяющими разных рангов и чинов. Взяли сразу. Три месяца учебы плюс три месяца работы и теперь, уже четырнадцать лет, — старший инспектор пожарного надзора Тульского отделения Московской железной дороги Борис Евгеньевич Райский, прошу любить и жаловать.

— И, — добавляю на прощание, — двадцать четыре года, как ты — «Первый железнодорожник Афганистана».

Мы оба смеемся, договорившись о следующей встрече.

...Через день раздается звонок Райского:

— Я теперь — кто? Пожарный инспектор на железной дороге. Железную дорогу, поневоле задумаешься над судьбой, предсказал себе в первый день Афганистана.

— Ты уже рассказывал об этом.

— Слушай. В последний день пребывания в Баграме мы с техником разведроты, таким же старшим прапорщиком, стояли перед выбором — каким транспортом добраться до Кабула, чтобы потом улететь в Ташкент, в Союз. Или на наземном транспорте с колонной пустых наливняков-бензовозов, или по воздуху на «Ан-12». Решили лететь на самолете — перевалил через хребет и Кабульский аэродром рядом. Перед загрузкой в самолет, как и положено, с провожающими на посошок по чуть-чуть на всех опорожнили два пятизвездочных «Арарата». Зашли в самолет (пассажиров летело всего шесть человек — кроме нас еще две женщины и два «чернопогонника») и я сразу учуял запах керосина. Спросил у техника: «Да, ерунда, — ответил тот, — вчера местные «братья» случайно разлили три бочки керосина в грузовом отсеке» (*«чернопогонники» — военнослужащие, в форме одежды которых — в частности, на погонах и петлицах — черный цвет материи: артиллеристы, там, танкисты, другие рода войск: примечание автора*).

— Что дальше?

— Сидим в гермокабине и вдруг в один иллюминатор вижу пламя. Подзываю бортехника и в этот момент пламя увидел очкастый в черных погонах. Я был шокирован, потрясен (такое видел только в кино, но в кино — это трюк) — его очки стали медленно подниматься на лоб, и остановились только около волос. Во — какой там киношный трюк! Заснять бы тогда.

— Да-а...

— Совещание с командиром самолета длилось недолго. Открывают десантный люк, а там бушует пламя.

— Откуда оно взялось-то?

— Керосин — не бензин — он не испаряется и не улетучивается: вчерашний пролитый оказался на обшивке самолета и, видимо, от отстреленных противозенитных ракет загорелся.

— А высота?

— Высота три тысячи метров — дышать можно. Меня и разведчика обвязывают

тросами, собирают со всего самолета огнетушители и мы медленно ползем к открытому люку. Под нами пламя и горы почти рядом. Представь — затушили все-таки. И приземлились нормально с открытым люком. Летчики потом спрашивали, как мы такое сумели проделать.

— И что ты им ответил?

— Буквально: «Вы, в случае чего, с парашютами, а что нам делать на трех тысячах без парашютов?».

— Выходит, второе...

— Выходит, не выходит, а в последний — в последний, в последний — день пребывания в Афганистане я по полной программе отработал пожарником...

С какой вероятностью человек сам себе может предсказать свое будущее? Никто не пробовал быть оракулом своего будущего?..



Михаил Смирнов
(г. Салават, Башкирия)



СТАРИК И ОБЛАКА

Наш постоянный автор, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

Заскрипели половицы, и донеслось покашливание. Сергей Иванович, заложив руки за голову, заскрипел продавленной кроватью и покосился на хозяина дома, который промелькнул в проеме двери и загремел ведром, что стояло на широкой лавке возле входа, забубнил под нос, а потом принялся что-то искать на широкой полке, прибитой к стене. Он покосился на старика и снова нахмурился, посматривая сквозь щели на блеклое небо, подернутое серой пеленой. Вдохнул. Он снял большую веранду на лето, где можно было бы переночевать, а остальное время хотел побродить по окрестностям да заняться пейзажами, благо, здешняя природа манила, чтобы ее перенесли на холст. Горы и всхолмья, перелески и березовые колки, извилистые речушки и ручейки, а цветущие луга и поля с пшеницей такие необъятные, аж дух захватывало...

Он случайно наткнулся на эту забытую богом деревушку, когда сбился с дороги и долго колесил по грунтовкам, которые, как раки, расплзались в разные стороны, пока наконец-то не наткнулся на небольшую деревню, затерянную среди лесов, полей и лугов. Он полдня просидел на пригорке. Дома там и сям разбросаны по пологим холмам. Огороды упираются в речку, что протекала позади деревни. Сонные улицы. Замерла деревня, но в то же время жизнь в ней теплилась. Вон неторопливо потрусил собака по своим собачьим делам. Остановилась возле какого-то двора, лениво гавкнула, может здоровалась, а может соседскую собаку пригласила на прогулку, а потом снова уткнула нос в тропку и дальше пустилась. Загремело ведро. На улицу вышла старуха. Приложила ладошку к глазам, долго всматривалась вдаль, видать кого-то ждала, но не дождалась, заглянула через забор в соседний двор, кого-то окликнула, но там была тишина, и она снова вернулась в дом. Гоготнул гусь, но тут же смолк, когда неожиданно заорал петух, взлетел на забор и захлопал крыльями, а вслед за ним еще несколько отозвались. Живет деревня — это хорошо. Сергей Иванович долго наблюдал за сонной деревней, за маревом, что нависло над горизонтом, за стайками берез, что взбегали по горе, и за яркими всполохами рябин. К вечеру, не выдержав, спустился к крайней избе и долго разговаривал с неуступчивым ворчливым старичком, одетым в засаленные пузыристые штаны, в выцветшую рубаху на выпуск, в вороте которой виднелась толстая черная нить с простеньким крестиком, а на клювастом носу едва держались очки с толстыми стеклами и дужкой, замотанной синей изолентой. Наконец, сошлись в цене. Сергей Иванович уплатил аванс. Старик сразу же запрятал деньги в необъятный карман, а потом повел его на веранду, где в дальнем полутемном углу стояла кровать с большими тяжеленными подушками и

цветастым ватным одеялом, из которого торчала клочкастая вата. Рядом раскорячился сундучище, в таких раньше приданое держали да прятали под амбарный замок одежду, накопленную за долгие годы. К нему притулились два-три мешка с прогрызенными дырками и рассыпавшейся пшеницей. На стене, на вбитых толстых гвоздях, висели старые фуфайки, облезлый тулуп, тут же громыхнул жестью брезентовый плащ — обычно такие пастухи носят — от жары спасаются, да от дождя можно укрыться. А чуть наискосок было широченное запыленное окно. Свисали ключья старой паутины. Сквозь дырявую крышу пробивались тонкие лучики света, в которых кружилась пыль, поднятая стариком, когда он стал наводить порядок на веранде, сметая сор да пшеницу потертым чилиговым венником в щелястый пол, из-под которого радостно загорланил петух, созывая несушек к обеденному столу...

— Что валяешься, мил-человек? — дед Гриша поправил очки, прошелся по веранде, присел на край кровати, достал самосад, сделал самокрутку и закурил, выпустив ядовитое зеленоватое облако дыма. — Вторые сутки бока отлеживаешь да на облака поглядываешь. Глянь, какие погоды стоят. И облака подросли. Повзрослели, можно сказать, силушкой налились.

И ткнул скрюченным пальцем в окно.

Приподнявшись, Сергей Иванович прислонился к спинке кровати.

— Я уж второй день смотрю, как облака растут, — недовольно буркнул он. — Мне ветер нужен, ветер, чтобы немного отогнал облака от деревни и тогда утренние лучи солнца другими будут, а не такими, как сейчас — блеклыми и безжизненными. Едва солнце начинает всходить, едва мелькнут первые лучи — и тут же скрываются за облаками, которые нависли над деревней и словно приросли к горам — ничем не сдвинешь. Может, тяжелые, а может, ветер нужен, чтобы их чуточку отогнал и тогда утреннее небо станет ярким и глубоким, словно умоется, а лучи будут его подсвечивать, вот тогда-то облака заиграют. Мне нужны эти лучи, чтобы наружу вытянуть свет, а сейчас...

Не договорил, удрученно махнул рукой.

— Вот те на, я думал, он облакам обрадуется. Не каждый день над нашей деревней такие собираются. Наверное, смотрят, как люди живут, как я ворчу, как ты на кровати валяешься. Смотрят и удивляются, что люди — это лодыри. Ты, мил-человек, облакам радуйся, потому что они живые, — взглянув поверх очков, сказал старик, — а ему лучи подавай. Хе-х, насмешил! Где же взять эти лучи, мил-человек, если облака не по дням, а по часам растут? Время для них настало, силушку набирают...

— Меня зову... — раздраженно заворчал художник.

— Да знаю, мил-человек, знаю, как тебя зовут, — отмахнулся дед Гриша и, затаившись, опять скрылся в облаке едучего дыма. — Привычка такая у меня, мил-человек. Даже выговор получил за это, когда самого секретаря райкома на собрании назвал мил-человеком и носом при всем народе ткнул в его ошибки. Обиделся! Он молодой был, с гонором. Расфырчался, что я ничего не понимаю в его работе, и вместо того, чтобы слушать и помогать, я палки в колеса вставляю. Так и сказал. Да! Ну, меня наказали, а толку-то? Выговор вlepили, а с работы-то не сняли. Секретарь укатил, а я остался, и мне его выговор, как мертвому припарки. Он душу успокоил, а я даже не расстроился. Хе-х! — он встрепенулся и привычно ткнул в очки, поправляя. — Что хотел узнать-то... Вот ты, Сережка, малоешь картинки, а я наблюдаю за тобой и удивляюсь, неужто эту мазню покупают, а? — и, поднявшись, он подошел к мольберту, картинно отставил ногу в рваном носке, почесывая реденькую седую поросль на груди, склонился и прищурился, стараясь понять, что на холсте, сделал несколько шагов назад, опять взглянул и небрежно махнул рукой. — Мазня-мазней! Помнится, я в детстве так малевал, а потом батя хворостиной задницу расписывал. Хе-х! — и, поглаживая венчик седых волос, хрипловато хохотнул и снова спросил.

— И покупают?

Он взглянул на постояльца.

— Покупают, дед Гриша, покупают,— усмехнувшись, сказал Сергей Иванович.— На хлеб с маслом хватает. Бывает, икоркой балуюсь.

— Неужели? — удивился старик и опять подошел к мольберту, словно хотел понять, за что платят такие деньжищи, долго стоял, качал головой и снова пожал плечами.— Вот убей — не пойму! Натыкал кисточкой, размазал по всей картине и считаешь, мил-человек, что красиво. Хе-х! — склонившись, выглянул в окно, зыркнул глазами туда-сюда, приложил руку лодочкой, прищурившись, долго смотрел на березы, что стояли за речкой, взглянул на тяжелые, этажные облака, которые, казалось бы, зацепились за верхушки деревьев и никак не хотели уползать за горизонт, потом ткнул скрюченным пальцем, показывая.— Вот ты говоришь, что облака не нравятся, что лучи тебе подавай... А что ты знаешь про облака, мил-человек? — и, хитро сощурившись, взглянул поверх очков на постояльца.

Прислонившись к высокой спинке, художник усмехнулся, поглядывая на ершистого старика, с которым чуть ли не каждый день приходилось спорить о чем-либо, потому что у старика был свой взгляд на жизнь и все, что его окружало.

— Что могу сказать,— Сергей Иванович запнулся, думая, как бы вспомнить и более доступно объяснить, а потом просто сказал.— Ты, дед Гриша, говоришь, будто облака живые, а я скажу — это вода превращается в облака, это мы еще в школе проходили. Вода испаряется из морей и океанов, да отовсюду, где она есть, и поднимается вверх, а там свои законы, по которым в облака превращается.

Дернув за венчик волос, дед Гриша тоненько засмеялся.

— Я в школах не учился, как ты, к примеру,— он погрозил пальцем и снова ткнул в окно.— Сызмальства пришлось работать. Закорючку ставлю заместо росписи, но меня не проведешь. Моя бабка Агриппина, царствие ей небесное,— он крутанул рукой перед собой, словно перекрестился, и посмотрел на икону, что висела в углу.— Она могла на любой вопрос ответить. Все знала! И ведь тоже не училась. Да и какая учеба в деревне, если семеро по лавкам?! То люльку качают, то за малышкой присматривают, потом с батеи в поле уходишь или в леса, а то на реку. Оглянуться не успеешь, самого оженили, и тоже семеро по лавкам сидят и все кушать просят. А ты пластаешься день и ночь, чтобы семью содержать. Так всегда было, мил-человек. А сейчас... Эх...— старик сокрушенно покачал головой.— Одного еле-еле народили, и плачутся, слезами заливаются, что жизнь тяжелая, а сами-то и не видели еще — эту жизнь, зато научились жаловаться. Измельчал народ. Не люди, а так, людишки пошли...

И старик махнул рукой, а потом полез в карман, доставая свой любимый самосад.

— О, как! — рассмеялся Сергей Иванович.— Начал за здоровье, а закончил за упокой. Обещал про живые облака рассказать, а сам...

Он замолчал.

Старик ткнул пальцем в переносицу, поправляя съехавшие очки. Покрутил головой и, заметив запыленную пустую банку, поплевал в нее и ткнул туда окурком.

— Вот ты умный человек,— подняв палец вверх, сказал старик,— а говоришь, что облака — это вода из морей-океанов. Там вода горькая, как слышал, а дождевая вода — сладкая. Почему так? Ты же должен все подмечать, а тут с облаками опростоволосился. Хе-х! — дед Гриша торжествующе посмотрел на постояльца.— Ты подумай своей головой, мил-человек, как должен закипеть океан или море, к примеру, чтобы этот самый пар добрался до небес, а? Вон, кастрюлька стоит на огне, из нее пар вырывается. Чуть повыше подними руку и не почувешь его — этот пар, потому что он исчез, в обычный воздух превратился, а ты говоришь... Хе-х! — и тонко засмеялся, махнув рукой, а потом прищурился, посматривая на постояльца.— А ты видел, какие облака бывают, к примеру, зимой, а весной или летом и осенью? Что говоришь? Разные... Я без тебя знаю, что они разные, а почему? Ты хреновый худож-

ник, если не можешь объяснить, почему они разные... Ничему тебя жизнь не научила и ваша школа — тоже. Это я болтун? Да ты... Да ты...— старик возмущенно запыхтел, он поддернул штаны и ткнул пальцем.— Сам ты балаболка городская! Тебя учили, учили... Кучу денег потратили, а в твоей голове как был сквозняк, так и остался. Вот и получается, что пустили деньги на ветер. Еще неизвестно, кто из нас — болтун. Вот так, мил-человек! — и, махнув рукой, хлопнул дверью.— Ишь, говорит, из горького моря делаются облака, а дождик-то сладкий идет. А почему — не может сказать. Меня болтуном выставил, а сам-то... Пустомеля!

Старик продолжал ворчать, медленно спускаясь по ступенькам крыльца.

Проводив взглядом старика, художник усмехнулся, заложив руки за голову. Долго лежал, прислушиваясь к разноголосому кудахтанью кур, что возились в пыли, к ворчливому голосу старика, который, скорее всего, сидел на лавочке возле калитки и с кем-нибудь разговаривал и вспоминал его разговор. Не удержавшись, зная обидчивый характер старика, художник поднялся, потянулся, насколько можно было на высокой веранде, поддернул старенькие штаны, перепачканные краской и вышел на крыльцо, присев на высокую ступеньку. Взглянул на дальние холмы, на зеленые склоны, длинные тени от березок и низкое солнце, которое едва было видно сквозь мутную пелену, нависшую над горизонтом.

— Дед Гриш,— крикнул он, заметив его замызганную фуражку за забором.— Может, поужинаем? Накормишь голодного и хренового художника, а?

И, не удержавшись, опять засмеялся, вспоминая, как старик обозвал его и, запыхтев, ушел на улицу.

Фуражка зашевелилась и приподнялась. Из-за забора выглянул дед Гриша и, грозно сдвинув густые седоватые брови, взглянул поверх очков и погрозил.

— Я те дам, передразнивать! — сказал он, открыв калитку, и быстро засеменял к дому.— Ишь, пустомеля! Сам в трех соснах заблудился, а меня выставил болтуном. Эть, ну, дал боженька постояльца! Теперь замучает, пока не умотает в свой город,— и тут же ткнул пальцем.— А я скажу так, мил-человек, что моя бабка Агрипина намного умнее всех вас, нынешних, хоть и была неучем...— он запнулся, постоял, подергивая бровями, о чем-то думая, и махнул рукой.— Ну ладно, так и быть, заходи. Покормлю тебя, хоть и не заслужил, но если будешь обзывать, голодным оставлю. Понял?

И, прихватив головку чеснока и пучок лука, скрылся в избе.

Посмеиваясь, Сергей Иванович отправился за ним.

Ужинали неторопливо. А куда спешить, если вечер на дворе. На столе несколько вареных картофелин, пара-тройка яиц вкрутую, лук лежит рядом с солонкой, ломти хлеба, мяса нет, но есть немного пожелтевшего сала, но все равно вкусное, и две шербатые чашки с вермишелевым супом, который дед Гриша сам приготовил. Жена давно померла, а дочка и сын в город перебрались. Его звали, он отмахнулся. Родился в деревне и пусть здесь же закопают. И место приготовил. Рядышком с женой. Сказал, рядышком уляжется, хоть ей веселее будет. Закатится смешком, а глаза-то грустные. Сколько лет один, но так никого в дом не привел. Говорит, негоже, чтобы на жинкиной кровати спала другая баба, негоже. Сколько пытались ему невесту найти, он отмахивался. Своей не стало, а другая не нужна. Так и живет с той поры один, да редкий раз дети навещают и все на этом. И Сергей Иванович, когда поселился у него, заметил, старик ворчит-ворчит, все не так ему, а глаза радуются. Видать, все же надоело одному-то в пустой избе. А то, что брюзжит, так возраст такой — ворчливый, можно сказать. Все истории рассказывает. Заслушаешься. Много знает. Откуда, даже непонятно. И вот сейчас, зацепился за облака. Утверждает, что они живые. Значит, опять начнет рассказывать историю. Интересно его слушать. Кажется, небылицы плетет, а в то же время правдиво. Вот и задумываешься над его словами. А вдруг не обманывает?

После ужина Сергей Иванович со стариком пили чай с печеньем и простыми карамельками. Долго пили. Старик любил из блюдца чаи гонять. Чуть-чуть плеснет. Покапывает во рту карамельку, подует на горячий чай и шумно отхлебывает. Швыркаю, как он говорил. Так и швыркали с ним, пока крупные капли пота не потекли. Наконец, дед Гриша поднялся. Серым застиранным полотенчиком вытер вспотевшее лицо и принялся убирать со стола. Сергея отправил во двор, чтобы не путался под ногами.

Сергей Иваныч вышел на улицу и присел на ступеньку, тоже утираясь полотенцем. Так было всегда, когда они пили чай. Словно старались друг друга перегнать, кто больше выпьет. И всегда старик побеждал. А потом посмеивался над постояльцем, мол, слабый народишко пошел, даже чай пить не научились. И хекает сидит, а по глазам видно — доволен.

Повесив полотенчик на перила, Сергей Иваныч привычно принялся осматривать окрестности, останавливая взгляд на каких-либо мелочах, и снова смотрел, стараясь все запомнить.

Заскрипели половицы, раздался кашель, и рядом уселся старик, доставая кисет, и закурил, разгоняя сизый вонючий дым.

— Все лучи свои ищешь или ворон ловишь? — сказал он, подтолкнул постояльца и не удержался, зашелся в долгом кашле, потом сплюнул и просипел. — Сидит и башкой вертит во все стороны. Ну, чисто сорока, да и только!

— Привычка смотреть, — пожимая плечами, задумчиво сказал художник. — Что-нибудь заметил — и сразу в памяти откладывается, а то в блокноте или в записной книжке почиркаешь, да на любой бумажке, что под руку попала, лишь бы не забыть. У меня таких почеркушек немеряно собралось! И запоминаешь детали, всякую мелочевку, а из этого уже постепенно начинаешь мозаику выкладывать. Потом, когда в голове сложился образ или картину представил, тогда берешься за работу. И таких задумок в голове — не счесть! И так всегда...

— Твоя правда, мил-человек, — закивал головой дед Гриша и аккуратно стряхнул пепел в заскорузлую ладонь. — Я вот тоже, к примеру, увижу какую-нибудь железяку, сразу думаю, что из нее можно соорудить, куда бы приспособить. Все в хозяйстве сгодится. Так и собираю, где и что лежит, и тащу домой. Вон, уже сколько добра навалил, — и кивнул на большую кучу возле баньки. — Моя бабка ругалась, что двор захламляю, а потом махнула рукой. А когда мне что-нибудь нужно, я напрямик туда отправляюсь и начинаю кучу ворошить. И нахожу!

И начинался долгий и неторопливый разговор. Да какой разговор, если больше молчали, чем говорили. Так, изредка перебрасывались словами, да курили, иногда спорили, но тут же умолкали и каждый вспоминал о чем-нибудь своем, а когда молчание затягивалось, снова скажут и сидят, о своем думают. И так каждый день...

— Скажи, мил-человек, вот намалюешь свои картинки, а потом что с ними будешь делать? На рынок понесешь или как? — попыхивая сигаркой, сказал дед Гриша. — Наверное, уже вся квартира завалена, да?

Сказал и, хитро прищурившись, взглянул поверх очков.

— Почему на рынок? — удивленно взглянул Сергей Иванович. — Бывают выставки, правда, редко. Иногда заказывают картины, а еще есть такие любители, кто приезжает, — смотрят и забирают, что им понравилось. Пока не жалею, а что дальше будет — время покажет, — он задумался, потом покосился на старика. — Дед Гриша, что ты говорил про живые облака? Вижу, опять какую-нибудь небылицу намереваешься рассказать, да?

И покосился на старика, посмеиваясь.

Старик пошевелил бровями, наморщив и без того морщинистый лоб, снял фуражку, пригладил венчик волос и опять стал скручивать сигарку, отмахнувшись от папирос, какие подсунул художник.

— Что суешь всякую дрянь? Сколько смолу, но так и не привык к вашим папироскам и сигареткам — одно баловство и только,— поморщившись, он махнул рукой, потом провел языком по газетке и удовлетворенно осмотрел самокрутку.— Вот это конфетка! И вкусная, и запашистая, и для здоровья полезная, как говорил мой дед. Зимой, бывало, подхватит какую-нибудь лихоманку. Кашлем исходит. Дохает, как собака. Никому покоя не было. Тогда он брал самый крепкий самосад. Был у него такой. Горлодером называл. На всякий случай выращивал. Я мальцом был, стащил у него и решил посмолить. Так чуть концы не отдал! Ага... О чем я говорил? Ага...— он опять повторил.— Дед возьмет этот горлодер, скрутит здоровенную сигарку и на улицу подается. А там мороз, аж деревья трещат! Он смолит сигарку и ходит туда-сюда, а сам кашлем исходит. Опять скрутит и снова бродит — морозным воздухом дышит, а еще этим самым горлодером. Вот несколько сигарок изведет, до самых кишок прокашляется, вернется и быстрее в баню идет. Напарится так, едва до избы добирался. Зайдет, а ему бабка Агриппина стакан самогонки подает, а туда еще медку добавит. Не ради сладости, а для здоровья. Дед опрокинет его и лезет на печку. Укроется одеялом, бабка сверху на него всякое тряпье навалит, и он притихнет. А на ночь бабка возле печи ведро с водой ставила. Дед очнется, ковшечек опрокинет, мокрое исподнее скинет, сухое натянет и снова лезет под одеяло. Утром глядишь, а он здоровехонек бегаёт. Вот и получается, что наш горлодер лечит, а ваши папироски один вред приносят и больше ничего. Дрянь, да и только! Что говоришь? — опять зашевелились широкие кустистые брови.— А, живые облака... Ты, Сережка, когда картинки малюешь, только летом или постоянно? Ага, понял, как время есть, так и мотаешься за картинами... Мил-человек, можешь сказать, когда облака появляются на свет божий? Ну, рождаются...

Сергей Иванович удивленно мотнул головой, пожимая плечами, как облака могут рождаться, долго думал.

— Сразил вопросом, дед Гриша,— развел руками художник.— Право, не знаю... Не соображу, почему они рождаются. Мне кажется, они всегда были, есть и будут, потому что круговорот воды в природе, как говорится. Одни уходят за горизонт, а другие появляются.

— Это все брехня — ваш водоворот,— старик поднял палец вверх и поправил очки.— Я был мальцом, когда услышал эту побасенку, а может это и не сказка, но всю жизньюшку поднимаю голову и смотрю на небо, и еще ни разу не видел, чтобы моя бабка обманула. Все сходится, как она рассказывала. Значит, она правду говорила. Я что говорю: бабка Агриппина неграмотная была, а столько знала, что любого профессора за пояс заткнет. Правда! К ней многие обращались. Одни за травками приезжали, другие за советом и она никому не отказывала. Всем помогала. Так вот, как бы тебе попонятливее сказать-то...— он задумался, поглаживая венчик волос, потом продолжил.— Каждый человек это видит, но не всякий замечает. Взгляни на человека и его жизнь со дня рождения и до последнего дня, как из мальчика становится стариком, а потом сравни с облаками. Всю зиму небо белесое от морозов или закрыто тучами. Даже при ясной погоде по небу пелена раскинута. Правильно? Ага, точно... Весна наступает, теплом потянуло, и небо становится чище, и там появляются тоненькие легкие перышки-облачка — это детишки родились. Что? Наверное, перистые — не знаю... Летом эти облачка-детишки растут не по дням, а по часам, наливаются силой и к концу лета становятся огромными и высокими — это уже взрослые по небу гуляют. Так говорю? Вот, правильно! Наступает осень. Облака начинают темнеть или потихонечку состариваются, ежели по-людски сказать. Расползаются во все стороны, все чаще заволакивая небо до самого горизонта. А в конце осени они почти сплошь растянулись над головой и стали черно-серыми, тяжелыми и медлительными, будто наверху собрались пожилые облака. А зима наступает, небо закры-

ваются серыми — седыми облаками — это старость пришла к ним и, лишь изредка появляется солнце, но это солнце всегда в какой-то пелене. А начинают исчезать седые облака в начале весны, а на их месте снова появляются легкие перистые облака, как ты назвал. Человека хоронят в землю, а седые облака уходят в небесную синь, чтобы дать новую жизнь другим облакам. Вот и подумай, мил-человек, откуда берутся облака. Они рождаются! И с весны до весны — это их жизнь. С одной стороны — короткая жизнь, а с другой, если подумать, длинная, потому что они очень много пользы приносят людям. Как, кто родил? Эта... — старик покрутил головой, ткнул пальцем в очки и подергал венчик волос. — Как ее... А, вспомнил! Природа — это она родила, так моя бабка Агрипина говорила. А не верить ей не могу, она умнее всех была. Убедился! И ты, ежели умом пораскинешь, тоже поверишь. Гляди на небо, мил-человек, жизнь не только на земле, но и на небесах — тоже! — и, поднявшись, он громко зевнул, направился в избу, но приостановился. — Да, вот еще... А моря и океаны — это слезы людские. Для кого-то слезы радости, кому — горести, У каждого человека свои слезы. Это мне бабка Агрипина говорила. Как-нибудь расскажу тебе, а сейчас что-то меня сморило, — и опять протяжно зевнул. — Пойду, чуток подремлю, — и захлопнул дверь.

И снова дверь заскрипела. Дед Гриша вышел и взглянул на небо.

— Забыл сказать... Слышь, мил-человек, — он ткнул пальцем, показывая на небо. — Можешь готовить свои краски. Завтра будет ветер. Утром лучи по небу пробегут и оно станет таким, каким ты его видишь. Поторопись...

Сказал и направился к двери.

— Дед Гриша, — Сергей Иваныч посмотрел на небо. Оно было блеклым и безжизненным. — Дед, откуда знаешь, что будет ветер?

— Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь, — буркнул старик. — К примеру, после обеда начнется гроза. Сильная. До нитки вымокнешь, пока до деревни доберешься, но ты не заболеешь. А я, пока тебя не будет, баньку протоплю. Попаримся, чай пошвыркаем, а потом посидим, за жизнь поговорим...

Сказал и притворил дверь.

Сергей Иваныч опять взглянул на мутное небо. Казалось, облака стали еще больше, словно подросли за эти дни: тяжелые, высокие и неповоротливые, они зацепились за вершины гор и ничем не сдвинешь. Редко проглядывало тусклое солнце. Он пожал плечами, задумался, вспоминая рассказ старика, и, сравнив человека с жизнью облаков, от первого и до последнего дня, удивленно хмыкнул, поражаясь сходству. Потом махнул рукой, заторопился на веранду и стал собирать краски с кистями. А вдруг, правда, старик не обманывает, и завтра будет долгожданный ясный день и тогда он снова возьмется за картину? Все может быть...

А вечером, как обычно, они будут сидеть на крыльце и вести долгие разговоры. Даже разговорами назвать-то нельзя. Так, изредка перебросятся словами, но в основном будут молчать и курить, иногда спорить, и снова молчать, и каждый будет о чем-то своем вспоминать, а когда молчание затянется, снова перебросятся парой слов, а если настроение будет у старика, он что-нибудь расскажет, к примеру, о море людских слез или еще о чем-либо...



Александр Лепешенко
(г. Волгоград)



ДОКТОР РАДОНОВ В РАБОТЕ И ДРУЖБЕ

Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, заместитель генерального директора Издательства «Учитель». Лауреат премии имени Виктора Канунникова (2008), дипломант различных литературных конкурсов Автор книг рассказов и повестей «Монополия», «Сороковой день» и романа «Смешные люди». Публиковался в литературных журналах «Московский вестник», «Невский альманах», «Волга. XXI век», «Отчий край» и «Перископ».

В распахнутую дверь командирской каюты заглянул начальник медицинской службы капитан Радонов.

— Разрешите?

— Прошу, Вадим Сергеич, проходите, присаживайтесь...— Савельев отложил карту, с которой работал, и кивнул Радонову на кресло.— Вы насчет Эйбоженко? Я обдумал ваше предложение. В целом, оно здоровое: у шифровальщика действительно не так много дел в походе. Поэтому разрешаю задействовать его по медицинской части.

— Благодарю, Андрей Николаич! Но вообще-то я хотел переговорить о матросе Братченко.

— Да - да, я помню... Вчера, вы докладывали, что обнаружили у него тревожные симптомы...

Радонов поудобнее уселся в кресле, вытянул длинные ноги.

— Все так... Слабость, тошнота, повышенная температура и боли в правой подвздошной области. Это не что иное, как острый аппендицит,— подытожил Радонов.

— Вадим Сергеич, что вы намерены предпринять?

— Консервативная тактика успеха не имела. Покой, голод и антибиотики не помогли. Температура поднялась еще выше. А, значит, нужно срочно оперировать.

— Все-таки операция...— сказал Савельев, помрачнев.— Как некстати...

— Командир, будьте покойны... В клинике кафедры военно-морской хирургии я оперировал больных раком... Сейчас же требуется всего лишь вырезать воспаленный аппендикс.

— Хорошо, Вадим Сергеич, как будете готовы, приступайте! Да, и вот еще что... Свет в амбулатории не погаснет ни при каких обстоятельствах... Никакое оборудование не выключится... Все будет крутиться и вертеться,— скрепил Савельев и потянулся к тумблеру громкой связи.

...Не раз и не пять командир взвесил доводы за и против возвращения в Гаджиево. Выходило, что стратегический подводный ракетносец «К-799» ну никак не сподобится пришвартоваться к родному пирсу раньше, чем следующим утром, и самое верное — это оказать всю необходимую помощь матросу Братченко здесь, в море.

Сейчас, не медля... В своем, как всегда прямом и развернутом в плечах, докторе Андреем Николаевичем несколько не сомневался: он то уж точно «всех излечит, исцелит». Впрочем, вселял уверенность и очень обязательный старшина электротехнической команды Широкоград: коли отрезал Александр Иванович, что лампочки в операционной посветят, значит так и будет. Что еще? Цельный и твердый старпом Пороховщиков сразу взял сторону командира. Базель же, Базель, имевший свойство почти не иметь свойств,— не в счет. «Ну тиснет замполит по обыкновению наверх рапорт, да и черт с ним... Не родился еще богатырь такой, чтобы смог меня обыграть»,— решил Савельев.

Вскоре командира вызвали на ГКП. Широкоград стал фокусничать с электричеством, а Радонов взялся, наконец, за скальпель.

Когда операция уже благополучно завершилась, Вадим Сергеевич Радонов бодро пропел:

*Фридрих Великий, подводная лодка,
пуля дум-дум, цеппелин...
Унтер-ден-Линден, пружинной походкой
Полк оставляет Берлин...*

— Ну что, товарищ капитан? — прокряхтел, оглядывая свой живот с белой марлевой повязкой, матрос Братченко.

— Что, что... Я же говорил: лучше сдайся мне живьем...

— Так я и сдался.

— Значит, жить будешь... Ясно?

— Ясно.

— Денис, по-моему, ты сдрейфил, а?

— Да как же не сдрейфить-то... Один только вид вашего хирургического инструмента...

— Инструмента?.. А скажи: ты песню Высоцкого слышал? Ну в ней еще такие слова... Пока вы здесь в ванночке с кафелем... Э-э, моетесь, нежитесь, греетесь... В холоде сам себе скальпелем он вырезает аппендикс...

— Про клоунов знаю, но эту нет, не припомню даже... А отчего вы интересуетесь?

— Видишь ли, Денис, я ведь коллекционер.

Радонов поймал удивленный матросский взгляд.

— Да-да, коллекционер... Но не в том смысле, что я гоняюсь за какими-то древними черепками... Артефактами... Понимаешь?

— Не совсем, Вадим Сергеевич.

— Истории, своеобразные, конечно... В своем, так сказать, роде... Вот что я собираю.

— А-а-а...

Неожиданно доктор зазвенел молодым рассыпающимся смехом.

— Ну и физиономия у тебя, матрос! Раскрывает рыба рот, а не слышно, что поет. Братченко виновато улыбнулся.

— А, Впрочем, не забывай голову... Лучше прелюбопытную историю послушай...

Вадим Сергеевич закрыл кран и понес перед собой мокрые большие руки. Потом тщательно обтер их полотенцем и, присев на кушетку, начал свою повесть:

— Так, но с чего же начать, какими словами? А все равно, начну словами: там, на станции Новолазаревская, в кипящем котле Арктики... Почему, скажешь, в кипящем? Ну а как я, Денис, эту необычную, гадательную и неопределенную Арктику тебе опишу... Год?... Год тысяча девятьсот шестьдесят первый... И если не изменяет мне память, то двадцатые числа февраля. Холодина! Такая холодина, что из себя самого можно выскочить. И даже на пресловутые ребра не опираться... Короче, погода ощерилась! Авиацию не поднять... А до земли обетованной, «откуда доходят облака и

газеты»,— восемьдесят километров... И вот тут, по гадскому стечению обстоятельств, птенец человеческий оказался на краю гибели. Тьфу! Прости, Денис, съехал на штампы... Э-э, ну так вот... Врач этой полярной станции, Леонид Rogozov, заметь, единственный тамошний врач, сам поставил себе диагноз: острый аппендицит. В общем, все, как у тебя. Почти все. Разница лишь в том, что тебя спасал я, а Rogozova — Rogozov. Нет, конечно, ему помогали метеоролог Артемьев, подававший инструменты, и инженер-механик Теплинский, державший у живота небольшое круглое зеркало и направлявший свет от настольной лампы. Начальник станции Гербович дежурил на случай, если кто-то из «ассистентов» грохнется в обморок. А что же Rogozov? А Rogozov лежа, с полунаклоном на левый бок, вкатил себе раствор новокаина и аккуратно так сделал скальпелем двенадцатисантиметровый разрез в правой подвздошной области. Временами всматриваясь в зеркало, а временами и на ощупь, без перчаток, действовал он... Следишь, Денис? Ага, вижу, что следишь. Хорошо, сейчас посыплются еще и цифры... Итак, через тридцать — сорок минут от начала операции развилась выраженная общая слабость, появилось головокружение. Еще бы! Ведь добраться до аппендикса было непросто — Rogozov наносил себе все больше ран и не замечал их. Сердце начинало сбоить. Каждые четыре — пять минут он останавливался на двадцать — двадцать пять секунд... В какой-то момент Леонид Иванович даже пал духом. Скапнулся... Но затем осознал, что вообще-то уже спасен! Да, именно так. Операция, длившаяся час и сорок пять минут, отколодилась. Дней через пять, примерно, температура нормализовалась, а еще дня через два были сняты швы.

— Вадим Сергеич, значит, это о нем, о Rogozove, Высоцкий ту песню пел...

— Конечно, о нем, не о тебе же. И это ему, а не тебе, вручат впоследствии орден Трудового Красного Знамени. А впрочем, и ты, Денис, большой молодец... Хвалю!

— Спасибо! Но если бы не вы, товарищ капитан...

— Да ладно тебе... Служи Советскому Союзу!

...Умыв, что называется, руки, Радонов отправился в курилку. Дорогой он доложил командиру и, приобретя его благодарность, пребывал в прекрасном настроении — выстукивал об портсигар какой-то уж очень воинственный марш. Таким его и увидели штурман Первоиванушкин и мичман Широкоград. Оба уже разминали в пальцах туго набитые, пайковые, индийские сигареты.

— Что, братцы, воскурим фимиам? — чуть ли не пропел Радонов.

Штурман Первоиванушкин улыбнулся и чиркнул зажигалкой, давая каждому из товарищей прикурить.

— Какая, однако, у тебя, Иван Сергеич, горелка... Небось, серебряная?

— Да, тонкая штучка... Не удержался, купил... Чуть ли не всю получку укокошил.

— Слышишь, Александр Иванович? Во сибарит дает! Ему бы ожениться, тогда бы знал, на что получки укокошивать...

— А сам-то когда такому дельному совету последуешь? — сказал, выделяя дымные кольца Широкоград.— Ване-то — двадцать пять, лицо еще пушится, а тебе через две недели... Сколько? Тридцать, тридцать лет!

— Молодость, брат, как известно, к нам уже вернуться не может... Разве что детство...

— Да черт с ней, с молодостью! Ну, вот что ты брякнул недавно на танцах Вале Веревкиной? Мадам, отодвиньтесь немножко! Подвиньте ваш грузный баркас... Вы задом заставили солнце,— а солнце прекраснее вас...

— Я — любавец! Я — красавец! А она, она перед моим носом изнемогала в невозможной восточной позе. А впрочем, Сань, ты прав... И мне надо бы ожениться, а? Променять, как писал твой любимый Платонов, весь шум жизни на шепот одного человека...

— Да, ну тебя... Я серьезно, а ты...

— Сань, да я то же серьезно... Поверь!.. Просто «изумрудное будущее не вытанцевывается»...

Радонов незаметно и как-то лукаво подмигнул Первоиванушкину.

— Найти бы единственную мою письмовладелицу... Такую, например, как твоя Полина, и сразу того...

— Чего, того? — вскинулся Широкоград.

— Под венец! Исцелять раны цветами...

— Иван Сергеич, поговори с этим паяцем сам. А мне пора, надо еще кучу датчиков проверить.

— Иди, иди, Карамазов, проверяй свою кучу, а я тут помозгую с Ваней насчет Великого инквизитора... Базеля... Совсем распоясался, даже на командира вон бочку катит.

— Ну, мозгуй, Вадим Сергеич,— парировал Широкоград,— только потом не забудь рассказать, что намозговал! — Как подсказывает опыт, лучше знать о твоих экспромтах заранее...

Он собрался уж было выйти из курилки, но тут его вдруг окликнул доктор.

— Не сердчай, Александр Иванович... Сань... Ну, вот хочешь — поклонюсь тебе в пояс... Ты ж просто спас этого матросика Братченко... Светил всегда, светил везде... Ничего у меня в операционной даже не гакнулось. Нет, я серьезно, брат!

— Все, товарищи офицеры... Адью!

— Давай, Сань, пока! — кивнул Первоиванушкин и зачем-то, с каким-то даже шиком, чиркнул зажигалкой.

Подводники помолчали, пуская дым.

— Он ушел, но обещал вернуться...— снова оживился Радонов.— Нет, ну, Саня, он ведь как Болконский...

— В смысле?

— А в том смысле, брат Иван, что и он может знамя поднять... Обожди, обожди, в свой час обязательно подымет...

— Постой, а что ты хотел о Базеле сказать?

— Что, что... Может, на дуэль его вызвать? Вызовешь, Вань? Или на седины старика не подымится рука?

— Вот ты юродивый!

— А может, его за бороденку, за мочалку да и вытащить с нашей подлодки... Как Митя Карамазов отставного штабс-капитана Снегирева из трактира вытащил, а?

— Во-первых, Базель не отставной штабс-капитан...

— И во-вторых,— подхватил Радонов,— без мочалки... Ухватить не за что...

— Нет, ну юродивый... Кто тебя только до больных допустил?

— На счет юродивого, брат, ты крепко ошибаешься... Во мне растут цветы подводные... И жизнь цветет без всякого названия...

Радонов помолчал, покусывая губы, потом сказал:

— Пойду-ка я проведаю моего единственного больного. Жаль, конечно, Вань, что это не ты... Я б тебя так проведал...

— Добрый ты, Вадим!

— Добрый... И ты добрый. Все, все добрые...

— И Базель?

— Базель? Нет, он не добрый, а святой... Сердце его большое похоже на колокольню...



Ольга Набережная
(Якутск, Республика Саха (Якутия))



ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ

Пишет рассказы и повести. Публиковалась в литературных журналах: «Полярная Звезда», «Луч», «Парус». Золотой лауреат международного литературного конкурса «Большой финал» (2019 г.) Автор сборника рассказов «На ять».

Нюта и Виолетта Генриховна не были подругами. Как говорится, судьба свела. Точнее сказать, случай. А впрочем, это практически одно и то же.

Нюта всю жизнь проработала поваром в фабричной столовой. Не нажила ни премий, ни грамот и надбавок к пенсии. Сын и муж погибли. Давно, в автокатастрофе. Примирилась уже с потерей. Свыклась как-то. Несколько раз в год ездила на могилки с бумажными, незатейливыми цветочками в сумке и блинами. Покряхтывая, очищала холмики от лежалой травы и сухостоя. Долго сидела, потом отдыхала на лавочке в оградке, слушая птиц и кладбищенскую тишину. Верила, что это души Васеньки и Николая рядом летают, ее приветствуют своим чириканьем. Улыбалась сквозь слезы, вздыхала, крестила могилки сморщенной горсткой и шла на автобус, пока не стемнело...

Виолетта Генриховна всю свою энергию и непоколебимый советский энтузиазм отдала английскому языку и преподаванию в университете. Причем так успешно, что дочь, проникнувшись материнной любовью к чужой речи, сменила родной город на заграничные соблазны. Все, как у людей. Дом в два этажа, две подержанные машины на семью, трое детей, субботние барбекю на заднем дворе с соседями, гольфом и собакой. Нет, Виолетта Генриховна не обижалась, что в размеренной жизни дочери не нашлось ей места. Да и куда она на старость лет уже? В новую жизнь? Просто по внукам очень скучала, которых никогда вживую не видела. Хотелось ей прижать их к груди, почитать «Золушку» или «Простоквашино» на ночь, сводить в зоопарк, ну, или в цирк. Но увы и ах. Билеты стоят дорого. Отпуск у дочери с зятем всего десять дней. А на Кубу из Канады слетать дешевле, чем в Россию...

Они и познакомились-то случайно. Встречались иногда в ближайшем к дому супермаркете, но даже не подозревали, что живут в соседних подъездах. Нюта в мыслях окрестила эту худенькую немолодую женщину «профессоршей» — уж очень вид у нее был деликатный и вежливый. В тот день Виолетта Генриховна получила пенсию и решила отправиться за продуктами. У Нюты пенсия была через два дня, но кончилась мука. А завтра у Васеньки день Рождения — блинов надо напечь. А как их напечешь, если муки нет? Вот и потащилась Нюта в магазин, хотя с утра поясницу выворачивало. Не иначе дождь будет на днях. Еще и ухо чесалось — точно помокрет. Нюта вышла из подъезда. Зябко поежилась и припустила по тротуару, пока домашнее тепло не выдул октябрьский северный ветер. Тут не дождем, тут снегом за-

пахло уже. Нюта заскочила в магазин и расслабилась. Тепло. Она неспешно прошла по рядам. С сожалением поглазела на витрину с сырокопчеными колбасами, расплатилась за муку и пошла к выходу. Сквозь стеклянную дверь заметила худенькую спину Виолетты Генриховны в затрапезном пальтишке и шляпке-таблетке на гордой профессорской голове. Небо совсем захмурилось и сыпануло звонкими горошинами града. Нюта прибавила шагу. И тут, когда она почти обогнала профессорскую спину, спина вдруг поехала вбок, нога в кокетливой потертой боте вывернулась влево, и профессорша неловко шмякнулась на тротуар, накрыв себя немногочисленными авоськами и пакетами.

— Ой, батюшки,— Нюта всплеснула руками, отбросила свою муку и кинулась к упавшей.— Да че ж вы такие не осторожные-то! Под ноги же глядеть надобно.

Нюта осторожно подтягивала Виолетту Генриховну за локоть. Та, охая и поминая Господа, с четверенек поднялась на ноги.

— Спасибо, милочка, все в порядке. Поскользнулась. Я такая неловкая. Простите, что побеспокоила,— Виолетта Генриховна утвердилась на своих двоих и нагнулась за пакетами.— Ох,— простонала она.— Нога что-то. Подвернула, что ли?

— На меня обопритесь. Вам далеко?

— На Ярославскую. Спасибо вам.

— Ой, и мне туда же! Вас как звать-то? — Нюта заботливо подхватила страдалицу под руку.

— Виолетта Генриховна. А вас?

— А меня — Нюта. Ну, в смысле Анна Сергевна.

— А на Ярославской — куда вам? — Нюта, заботливо прижимая локоток Виолетты Генриховны, семенила рядом, подстраиваясь под хромоногий ритм.

— Четыре дробь один. Подъезд четвертый. Да вы не беспокойтесь! Сама доковыляю как-нибудь. Что ж вы на меня время тратить будете,— Виолетта Генриховна неловко замялась, но еще крепче вцепилась в Нютино пальто.

— Ой, надо же! И у меня четыре дробь один. Тока подъезд третий,— Нюта всплеснула руками от радости, словно встретила старую знакомую, которую сто лет не видела. Ее спутница, потеряв опору, снова, было, поехала вниз на тротуар.

— Эй, вы че не держитесь-то? Обопритесь пошибче. Я дюжая — выведу.

— Дома есть кто? — поинтересовалась Нюта.

— Да нет никого. Одна я,— вздохнула Виолетта Генриховна.

— Ну и ладно. Вперед! — скомандовала спасительница.— Как-нибудь доковыляем.

Так они, медленно переступая и обсуждая злободневные темы повышения цен на продукты и мизерной пенсии, добрались до дома. Нога у потерпевшей крушение болела и горела нестерпимым огнем вывиха. И Нюта старалась отвлечь свою неожиданную попутчицу веселыми прибаутками, коих знала в огромном количестве еще со времен своей поварской деятельности. Доплелись до Нютино подъезда. Нюта, не слушая робких, интеллигентских возражений, типа «ой, как неудобно, я и так вам столько хлопот доставила», взволкла худенькую, но такую тяжелую костью, Виолетту на свой третий этаж. «До вашего подъезда еще дальше ползти»,— промотивировала свое решение Нюта. Дома водрузила на старенький, продавленный диван, вызвала «скорую» и только потом, тяжело дыша, грузно опустилась на стул. Виолетта Генриховна, притихнув, как воробей во время грозы, уткнулась носом в плешивую горжетку и замерла под гнетом боли и вины.

«Скорая» приехала на удивление быстро. Запеленали ногу в лангету, вкололи болеутоляющее и заторопились на следующий вызов.

— Нюта, мне крайне неловко, но я вынуждена вас просить помочь мне до дома

добраться,— Виолетта Генриховна, не отрывая от горжетки глаз, пошевелилась на диване.

— Да куда вы пойдете, голубушка? Кто ж за вами уход-то делать будет? Ногу-то нельзя напрягать, и ходить вам пока нельзя. Так что — располагайтесь и не повторяйте все время, что вам неудобно. Неудобно пальцем консерву с сайрой открывать. А у нас — все удобно. Щас я вам бульончика сварю,— Нюта решительно закинула на диван здоровую Виолеттину ногу, подоткнула под спину плюшевую подушечку и укутала бережно пледом болящую. Виолетта Генриховна потеряла дар речи, глазами застекленела, и вдруг это стекло полилось неожиданным водопадом по сморщенным щечкам.

— Милая моя, да вы ж мой ангел-спаситель! А я уж не думала, что такие люди встречаются в наше-то непростое время. Но, право слово, неловко мне как-то.

Нюта поморщилась.

— Да че вы, в самом-то деле? Неужели мне бы так не помогли, случись со мной такая оказия? Придумали тоже — ангел. Этот ангел такого говнеца наложить может, что мама — не горюй. По делу, конечно. Но все равно. Нам крылья-то без надобности, мы и руками махать можем, если необходимость придет. А че ангел? Это он в раю — главный. А у нас-то, на земле, чего он решить-то может?

Под Нютино бормотание Виолетта Генриховна задремала. Так ей тепло стало и уютно, что даже боль в лодыжке казалось какой-то смутной, ненастоящей. Первый раз за много-много дней одиночество отступило. Даже порадовалась она немного, что с ногой такая история приключилась, потому что с замечательной женщиной познакомилась...

Время шло. Нога быстро заживала на куриных Нютиных бульонах. Сантехник Гоша по просьбе Нюты, сдобренный красивой фиолетовой денежкой, приволок из квартиры профессорши телевизор, потому что Нютин давно сгорел, а на новый так и не скопила. Гоша подключил антенну, настроил каналы и удалился, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Теперь вечерами они могли смотреть кино и новости. Раньше Нюта как-то привыкла обходиться без голубого экрана. Теперь ее было не оторвать от дивана после девяти, когда программа новостей заканчивалась и включали какой-нибудь российский сериал. Виолетта даже сердилась иногда.

— Нюта, да пойми ты. Никакое кино не заменит живого общения. Ну что там могут показывать такого, чего ты еще в этой жизни не видела? — горячилась Виолетта.

— Знаешь, Вита, я много чего в жизни видела. И смерть видала, и подлость видала, и чего тока я не видала. Вот мне и хочется посмотреть на жизнь без всей этой гадости. Может быть все красиво: белые занавески, красные шторы, диванчики с золотыми ножками. А люди-то! Ты посмотри, люди какие красивые! И все хорошие такие, аж плакать хочется,— Нюта собирала в горстку слезки, всхлипывала, нарочито громко вздыхала и переключала на канал «Культура». Любимый Виолеттин. Стойко минут пять слушала разговоры о литературе, споры какие-то ей непонятные, разглядывала причудливых мужиков с бородами и стальными перстнями на пальцах.

— Вита, а давай лучше Уильяма твоего почитай. Все ж интереснее, чем эта говорильня. Не могу уже слушать это, мозги в трубочку.

Безотказный и преданный денежкам любой цветовой гаммы сантехник Гоша, под неусыпным и бдительным оком Нюты, собрал в квартире Виолетты Генриховны несколько книжек, с сожалением поглядел на бронзовый подсвечник на старинном дубовом столе, и все литературное добро припер в Нютину квартиру. Больше всего Нюте понравилась «Ярмарка тщеславия».

— Не, ты глянь, че делается-то! Вот все напоказ у этих буржуев. Махонькая же

девчущечка-то, а характер — ого-го! Вот уважаю я таких. С наперсток сама, а жизни фору дать может,— искренне эмоционировала Нюта, вгоняя иголку в ночную сорочку Виолетты.— Ишь, не-е-е, нас, простых девок, так просто не вытравишь с этой самой ярмарки.

Виолетта Генриховна улыбалась. Хорошо ей было с Нютой. Надежно. И вся жизнь — по полочкам. Все ясно и понятно. Где хорошо, а где плохо. Нюта все знала...

Нога зажила. Пришло время сказать последнее слово и проститься. Обе неловко себя чувствовали, потому что, вроде, как и пора, а расставаться-то не хотелось. Привыкли рядышком. Да и выживать вместе легче. Обе переживали, мялись, но разговор о главном первой все-таки Нюта начала. С утра Виолетта Генриховна была сама не своя. Собирала кофточки, сорочки, платочки в кучу. Куча собралась не очень большая, но громоздкая. Нюта искоса поглядывала на сборы подружки, но молчала, что-то сосредоточенно обдумывая.

— Нют, ты мне сумку дашь какую-нибудь большую? Что-то вещей накопилось столько. Загостились я у тебя,— неловко улыбаясь, Виолетта зашла на кухню, где Нюта яростно терзала венчиком яйца.

— Ты омлет на ужин будешь? — словно не слыша подружку, спросила Нюта.

Виолетта Генриховна растерялась.

— Ну буду, конечно... Нют, ты меня слышишь, я про сумку спросила.

— Да дам я тебе сумку. Слышу я. Присядь-ка. Разговор есть.

Нюта вытерла руки о могучие бока, растрепавшиеся волосы заправила под ободок.

— Зачем тебе уходить? Нам жить вдвоем легче. Сама же понимаешь. И Маньке своей сможешь высылать в заграницы ихние. Твою квартиру сдадим. С пенсии закупаться будем. Заживем, Витка! — весело закончила тираду Нюта и вопросительно посмотрела на профессоршу.

Виолетта Генриховна в порыве благодарности вскочила, заключила в объятия мощный торс Нюты, расцеловала ее в щеки, в лоб, потом опять в щеки и расплакалась, всхлипывая и промакивая кухонным полотенцем слезы.

— Нюта, я уж не знала, как предложить тебе такое решение. Как я к тебе привыкла! Милая ты моя! Конечно! Согласна я!

И жизнь потекла совсем в другом русле. Не сказать, что сказочная и безбедная. Но стабильная и надежная. И главное — неодинокая. Дочитали Теккерера. На последних страницах Нюта разревелась, совсем по-бабски, с прививаниями и утробным хлюпаньем носом.

— Буржуи паршивые, заморили девку своей жизнью. И-и-и-и, а могла бы борщи варить мужу, или, как эта, ну как ее? Во! Как Бузова у нас в верхах крутиться. Деньги лопатой грести. Вот, че за жизнь? Че за жизнь?!

— Фи, Нюта, ну Бузова-то здесь причем?! У тебя плохой вкус. Учю тебя, учю, а все без толку.

Нюта громко сморкалась, вытирала слезы и демонстративно включала Дом-2. Виолетта Генриховна пошла спать. В такие минуты с Нютой спорить было бесполезно. Наутро мирились за овсянкой, запивали мир чаем и расходились по своим делам — Нюта в магазин, Виолетта убирать квартиру...

Так и жили, нисколько не сердясь и не переживая, что у каждой на все было свое мнение. Принимали это мнение, иногда со скрипом, но всегда с пониманием...

А однажды Виолетта упала. Вот стояла возле холодильника, горячилась по поводу предстоящей пенсионной реформы — и упала. Нюта вареники катала, слушала гневную Витину тираду и улыбалась тихонько. А им-то че переживать? Уж давно на пенсии. А молодежь сейчас нежная больно пошла. На них пахать да пахать. Только

захотела ответить и вдруг — глухой удар. Повернулась Нюта, а Вита на полу лежит и воздух ртом, как рыба без воды, хватает. Испугалась сильно. «Скорую» вызвала. Приволокла в зал подругу. На диван не смогла закинуть. Силы от испуга и горя кончились. Так на полу, положив безжизненную голову на колени и поглаживая седой шелковый венчик волос, дождалась врачей...

Два дня прошло. Нюта, было, попробовала в больнице остаться, подежурить. Но — отправили домой. Мол, идите, отдыхайте, ничем не поможете. Позвоним... Позвонили. Нюта рот в судороге стянула, ответить не смогла. А в голове мысль одна трепещет: — «Да как же это?! Как я теперь-то? Почему-у-у-у?!»

Маньке Виолеттиной позвонила.

— Ой, тетя Нюта, вы уж как-нибудь сами там. Ни цента сейчас нет свободного. Помогите, пожалуйста, не останусь в долгу, — со слезой в голосе протянула Маша.

— А если денег не хватит, и мать твою, как собаку безродную, в целлофане закопают? Не приедешь даже? — Нюта разозлилась. — Когда будешь-то у нас?

— Постараюсь на девять дней. Ну правда — не могу сейчас, — голос отдаленно побулькал что-то еще несколько секунд, а потом замолчал. Видимо, связь прервалась.

Нюта тяжело встала со стула, прошла в комнату. Гроб самый дешевый, обитый сиреневым плюшем. Вита лежала, укутанная таким же дешевеньким тюлем, в бежевом платочке под подбородок. Нюта присела рядом. Положила ладонь на сухонькие, связанные марлевой повязкой желтые ручки. «Спи, дорогая подруга. Спи спокойно. Провожу тебя, как надо. Ниче, ниче, справимся, выкрутимся»...

Манька не приехала. А в аккурат утром на девять дней пришел перевод на двести долларов. Нюта почему-то не удивилась. «Откупились, засранка», — горько вздохнула и пошла на кухню стругать овощи для винегрета. Женщины с бывшей Витиной работы, с университета, позвонили вчера. Посокрушались, что не сразу узнали. Видимо, дочка из своих за границей сообщила запоздалую весть. Обещались зайти вечером, помянуть коллегу. Поэтому Нюта хотела расстараться с закусками, чтобы все было честь по чести, достойно. Весь день она хлопотала. Сбегала в банк, получила перевод, прикупила кое-что к столу, и, почти довольная, что все так удачно складывалось, вернулась домой. К пяти накрыла стол. В духовке поспевал пирог. Она повязала новую косынку, подаренную Виолеттой, которую почему-то до сих пор не надевала, непонятно на какой случай берегла. Ну теперь понятно, на какой. Она, глядя на свое отражение в голубом облаке косыночного шелка, нахмурилась. Предчувствовала, что ли? Тьфу ты, прости Господи, дура старая. Лезет же всякое непотребство в голову...

Ровно в пять раздался звонок в дверь. Нюта, волнуясь, пошла открывать. Никогда в ее квартире еще не было столько ученых людей. Она даже чувствовала некоторую растерянность. Как с ними разговаривать-то? Вита, понятно, своя была. И простая, и не простая одновременно. А эти? Кто ж их разберет-то. Нюта чуть помедлила, собираясь с духом, и повернула замок. На пороге стояли три старушки. Такие же обыкновенные и несложные в своей старости, как и сама Нюта. Печальные, изрытые морщинами личики выражали самую искреннюю скорбь. В руках одной из них болтались две поникшие гвоздички. Делегация чинно прошла в комнату и после приветствий расселась вокруг стола.

— Анна Сергеевна, мы тут собрали немного, профком выделил кое-что. Возьмите, пожалуйста! От всего сердца! Мы Виолетту Генриховну давно знаем... знали. Хорошим она была человеком, — с этими словами одна из дам, порывшись в старомодном ридикюле с золоченым замочком шишечками, достала конверт.

— Ой, ну что вы меня по имени-отчеству. Нюта я. Просто — Нюта. Спасибо вам, девочки, огромное. Дочка иеная сегодня перевод прислала. Я справлюсь. Неудобно даже как-то, — Нюта смутилась, зарделась, спрятала руки за спиной.

Вторая дама, очень серьезного вида, взяла конверт и подошла к хозяйке.

— Нюта! Берите деньги, и закроем эту щепетильную тему. Раз положено — значит, надо. Не уносить же нам их обратно.

— Тогда я оградочку поставлю потом. Ну и памятник надо посолидней. А то что? Стоит этот короб красный, деревянный. Краска-то, поди, слезет скоро,— оправилась от смущения Нюта и засуетилась.— Ну, давайте, девочки, двигайтесь ближе к столу!

Дамы с облегчением выдохнули и задвигали стульями. И радостно было Нюте, и гордостно, когда слушала она негромкие и сердечные речи о своей Вите. Что помнят ее люди, что не только в Нютину жизнь она свет принесла. А то, что одна осталась под старость лет, так это судьба-злодейка...

Проводив гостей, которые буквально растаяли под теплом ее гостеприимства, Нюта быстро убрала посуду, раскидала в холодильник по полкам оставшуюся закуску и присела на диванчик. Включила торшер, разлившийся теплым оранжевым светом по темноте комнаты, накинула на ноги плед, нацепила очки и открыла книгу на заложенной вязальной спицей странице.

«Глава LXIV. Неприкаянная глава. Мы вынуждены опустить часть биографии миссис Ребекки Кроули, проявив всю деликатность и такт, каких требует от нас общество — высоконравственное общество, которое, возможно, ничего не имеет против порока, но не терпит, чтобы **пророк** называли его настоящим именем,— прочитала Нюта вслух, отложила книгу, принесла из кухни портрет Виты, окантованный черной ленточкой, снова поерзала на диване, укутываясь, и громко, с выражением, продолжила: — На Ярмарке Тщеславия мы много чего делаем и знаем такого, о чем никогда не говорим...»



Владимир Кокинский
(г. Тула)



Занимается документальным кино с 2010 года, является руководителем АНО развития искусства и кинематографии «Преображение», пишет сценарии к фильмам, стихи, рассказы.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ

Она шла домой и улыбалась. И вроде бы не было никаких причин для хорошего настроения, но она улыбалась. Было сыро, сыро. Она немного промокла, потому что забыла зонтик, но на душе у нее было умиротворенно и радостно, как бывает, когда встретишь очень хорошего человека. Когда точно знаешь, что эта встреча останется единственной, но незабываемой. Когда чувствуешь, что становишься свидетелем зарождения новой, чистой, благородной личности.

Уже несколько минут, как прозвенел звонок, но Людмилы Александровны не было, и урок не начинался. Рассевшиеся по местам первоклашки сначала замолкли, но, почувствовав безнаказанность, стали потихоньку переговариваться. Разговоры и нетерпеливое шуршание ног под партами постепенно перешли в монотонный гул, который сопровождался воплями и вскриками. Ученики уже ходили «в гости» на другие ряды, пугали девчонкам волосы и лупили друг друга учебниками.

Вовка также не отличался дисциплинированностью и вместе со всеми радостно галдел и трепал свои книжки о головы одноклассников.

Но, вдруг, плотно закрытая дверь открылась, и в класс вошли две женщины.

— Зауч,— послышалось сзади.

Что означало это таинственное слово? Вовка слышал его впервые. Наверно, что-то очень страшное, раз все так притихли! Одну из женщин он раньше встречал в школе: около 50-ти лет, в небольших роговых очках, с кучерявой прической, со строгим неприятным лицом. Вторую он не знал. Она была значительно моложе, с короткими темными волосами, смеющимися глазами и родинкой на щеке.

— Наверно они и есть «зауч»,— подумал Вовка, приводя в порядок тетрадки, учебники, карандаши и ручки. Все шло к тому, что запоздавший урок все-таки начнется.

Знакомая учительница объяснила, почему нет Людмилы Александровны, и представила свою коллегу.

— Дети! Людмила Александровна заболела, и сегодня замещать ее будет Вера Сергеевна.

Вера Сергеевна никак не укладывалась в Вовкиной голове, как учительница. Она больше напоминала старшую сестру. Вовка вертелся, галдел и всячески отказывался

слушаться. Когда *учительница* в очередной раз пыталась его успокоить, он открыто заявил, что ему нравится себя так вести, и продолжал обезьянничать.

Не долго думая, Вера Сергеевна наказала сорванца, поставив его в угол. Но поскольку все хорошие углы были заняты другими непоседами, Вовке досталось местечко, где он был у всех на виду. Это позволяло безнаказанно комментировать происходящее в классе и даже передразнивать учительницу. Вовкины выходки пользовались чрезвычайной популярностью среди одноклассников. Он веселился и веселил всех окружающих, за исключением Веры Сергеевны, за двадцать минут прошедшую тест на терпение и профессиональную стойкость. Она мужественно продолжала урок.

Наступил момент, когда Вовкины проказы терпеть у нее не осталось сил. Она пригрозила ему тем, что отведет к директору, если он не перестанет хулиганить, но Вовку уже было не остановить. Он мгновенно изобразил Веру Сергеевну, грозящую наказанием, и был препровожден в кабинет директора.

Настроение у Вовки как-то сразу испортилось. Он знал, что директор школы — мужчина строгий, и всячески упирался, заставляя Веру Сергеевну едва ли не волочить его по полу. Да и перспектива малоприятного разговора с родителями настроения ему не улучшала. Уже у кабинета он понял, что от судьбы не убежишь.

В этот момент ему стало как-то неловко, стыдно. Внутренности сжались и медленно двигались вверх, заставляя вспоминать глупости и нелепости, случавшиеся с ним ранее. Они сменялись событиями сегодняшнего дня, картинками мелькая в Вовкиной голове. Его выходки уже не казались смешными.

Он встряхнулся и понуро зашел в приемную.

Директора не было на месте, и Вовку оставили здесь под присмотром секретаря. Он представлял, как будет объяснять маме с папой причину своего позора и не находил себе оправданий.

— От отца с матерью сегодня попадет...— жалостливо протянул Вовка, поглядывая на секретаря, надеясь получить хоть от кого-то небольшую моральную поддержку. Но секретарь строго посмотрела на него и сказала:

— Ну, а зачем безобразничал? Поделом тебе.

Вовка захлюпал носом. Он представил суровое молчание отца и долгие разговоры мамы, старавшейся понять самой и рассказать ему, почему это произошло и что делать дальше. Стул в центре комнаты, закрытую дверь, повисшую тишину. Да еще скоро придет директор...

— Сидишь? — услышал Вовка голос Веры Сергеевны, внезапно оказавшейся рядом с ним. Он так глубоко был в своих мыслях, что не заметил, как она подошла к нему. Вовке было очень стыдно, и он, все еще хлюпая носом и глядя на свои ботинки, с трудом выдал из себя:

— Простите меня, я больше так не буду.

Вера Сергеевна улыбнулась. Она потрепала Вовку по голове и сказала:

— Больше не будешь обезьянничать?

— Нет,— ответил Вовка, сопя носом и продолжая внимательно рассматривать свои ботинки. Ему действительно было очень стыдно, и он решил во что бы то ни стало понести заслуженное наказание.

— Ну, пойдем в класс. Обещаешь больше не безобразничать? — спросила Вера Сергеевна и взяла Вовку за руку. Но он вырвал руку.

— Обещаю,— прохлюпал он,— но в класс не пойду. Я должен быть наказан и буду ждать директора.

Вера Сергеевна безмолвно стояла рядом с учеником, совершенно не представляя, как себя вести дальше, а секретарь даже отвлеклась от папок, пытаясь понять, что происходит. Вовке было не до них, он горевал, все также внимательно всматриваясь в свои ботинки.

— Я тебя прощаю, Вова,— после некоторого раздумья произнесла Вера Сергеевна,— кроме того, ты и так уже достаточно наказан.

— Нет,— принципиальный Вовка был непреклонен.— Вы привели меня к директору, и я должен получить по заслугам.

Вера Сергеевна продолжала уговаривать, и даже пыталась увести его, взяв за руку, но Вовка уперся и сумел вырваться. Несчастной учительнице ничего не оставалось, как вернуться в класс одной.

Пришел директор. Он быстро, но внимательно оглядел Вовку.

— Что случилось? — обратился он к секретарю.

Она что-то прошептала ему на ухо и потом вышла из приемной, а директор, покинув Вовку, скрылся в своем кабинете.

Вовкино сердце бешено колотилось в груди. Он проклинал беса, вселившегося сегодня в него.

Секретарь вернулась с Верой Сергеевной, которая почему-то, покусывая губы, зашла к директору. Через минуту она вернулась и с улыбкой обратилась к Вовке:

— Ну, заходи!

Еле живой Вовка поплелся за ней.

— Рассказывай, что натворил,— строго сказал директор.

Вовка со слезами на глазах поведал историю своего шалопаиства.

Возвращаясь из школы домой, Вера Сергеевна думала о Вовке. Он доставил ей сегодня множество хлопот: дразнился, проказничал, да еще заставил с директором объясняться. Но она почему-то была уверена, что он никогда не станет подлецом и прохвостом, что станет надежным и порядочным человеком, что никогда никто не будет за него краснеть!

Она шла и улыбалась. И никто не знал, почему. Почему она улыбалась именно сейчас, возвращаясь домой после, возможно, самого трудного дня в ее жизни.

РАЗВИЛКА

Какой-то молниеносной вспышкой остался этот день в моей жизни. Он никогда не сотрется из памяти, ибо события, произошедшие тогда, направили мою жизнь в другом направлении.

Сейчас я вижу, что тот день был некой развилкой, и что иду теперь по дороге, которая медленно отдаляется и от перекрестка, и от дороги, по которой я мог бы идти, не будь тех памятных событий. И осознаю, что некоторые поступки я не совершил именно благодаря им; некоторые слова не сказал именно после произошедшего в этот день.

Кто-то от кого-то слышал, что он сильно заболел; кто-то где-то читал, что он сошел с ума. Его имя поросло мифами, а его прошлое стало легендой. В юности он был кумиром множества поклонников, тысяч людей. А потом как-то скоропостижно отошел от дел. Неведение для меня продолжалось до тех пор, пока Господь не свел нас для личной беседы. Всего одной беседы.

Я никогда не видел его в жизни ранее. Сейчас же смотрел, сравнивая лицо собеседника с образами различных фотографий, сохранившихся в моей памяти. Смотрел, узнавая и не узнавая.

Неприятную усмешку прежних фото сменила еле заметная добрая улыбка. Скулы и нос стали более отточенными. Извечная бандана исчезла, и теперь стали видны короткие седые волосы. Его движения были неспешны, однако в них чувствовалась конечность действий, их ясность и очевидность. Медленная речь создавала ощущение рассеянности, но каждое слово было выверено, чувствовалась абсолют-

ная ясность сознания. Три часа разговоров на самые разнообразные темы, несколько чашек чая...

И вот теперь стою на автобусной остановке, ошарашенный и не до конца уверовавший в произошедшее. Мысли путаются, кавардак в голове мешает увидеть номер нужного маршрута, однако душа трепетно ждет какой-то перемены, чего-то нового, важного.

Я размышляю о творчестве, о его влиянии на людей, о грехе, о Боге, поражаясь глубине знаний и прочувствованности этих знаний душой моего собеседника. В моем кармане припрятана подаренная им книжка «Мысли о духовной жизни в современном мире из писем игумена Никона (Воробьева) и схимигумена Иоанна (Алексеева). Еще многое предстоит узнать.

* * *

Всего несколько остановок до метро. Я почти решился пойти пешком, но подошел автобус, и меня прямо-таки занесло в салон. Неразбериха в мыслях едва ли не привела к выяснению отношений с водителем при оплате проезда пластиковым билетом. В самый разгар нашего диалога, когда уже начинали повышаться голоса, к турникету, мимо меня, протиснулся невысокого роста дедушка. Его окладистая, богатая, серо-седая борода сразу бросалась в глаза, а ироничная и все понимающая улыбка, прятанная под ней, каким-то удивительным образом выскальзывала на его лицо.

— Проходите по моему билету,— сказал он, и, вставив в устройство многоцветную карточку, легонько подтолкнул меня к турникету. Конфликт был исчерпан, и лучшего, чем проскользнуть мимо автоматического контролера и сесть на свободное место, придумать было трудно. Напротив расположился мой благодетель.

— Не стоило, у меня есть билет. Могу себе позволить купить его,— отшутился я, с трудом скрывая смущение,— но огромное Вам спасибо!

— На здоровье.

Я посмотрел в окно. Теплая, слякотная зима. Серые однообразные здания большого города. Бешено несущиеся легковушки, пронырливые маршрутки, неторопливые троллейбусы. Редкие пешеходы безучастно месят ногами грязный тающий снег. И вдруг, среди многоэтажек, уличных фонарей и массы висящих кабелей, совершенно неестественным видением является лазурного цвета церковь. Она неторопливо шествует за окнами, оставляя за собой чувство смиренного спокойствия.

— Вы не из храма идете? — вернул меня в салон автобуса старичок.

Мои рассуждения и чувства, наверно, были на лице. Трехчасовая беседа и церковь в окне были как-то связаны. Но как?

— Нет, я не здешний. У себя, в своем городе, конечно, хожу в храм. Сюда я приезжал в гости.

Может быть, эти удивительные небесные оазисы, которые мы называем церквями, особенно нужны именно в таких местах, чтобы, оглянувшись, человек мог бы вспомнить о Боге.

Храм за окном исчез, снова обнажив унылость большого города.

Я вышел на конечной остановке и слился людским потоком, который уверенно доставил меня к метро. Подойдя к турникету, я немного закопался, ища по карманам жетон, и почувствовал легкий толчок в плечо, а какой-то голос негромко, но четко произнес:

— Проходите по моему билету!

Подняв голову, я увидел улыбающееся лицо знакомого мне старичка. Он приложил карту к светящемуся кружку:

— Все равно я не наезжаю положенного,— его улыбка вновь выскользнула из бороды, а глаза хитро, весело, и в тоже время добродушно лучились.

— Давайте-давайте! — бодро подталкивал он меня к турникету.

Второй раз этот необычный человек одновременно возвращал меня в реальный мир, поражая своими неожиданными действиями. В изумленном оцепенении пройдя контроль, я оглянулся по сторонам, но старичка нигде не было видно.

Крайне редко можно встретить на улицах огромного города подобное отношение. Удивительный человек. Как удастся ему быть совершенно другим в серой, безразличной, кипящей массе? Жить не по принятым нормам, а по велению души?

Я нащупал в кармане подаренную книгу. Все-таки удивительный день: странный, добрый, необыкновенный. Встреча с кумиром юности, чудесное появление церкви в окне автобуса, необычный старичок...

Эскалатор вызволял меня из подземелий метрополитена на солнце и воздух. Еще совсем немного и останется всего пару сотен метров до дома. Впереди, поверх людских затылков, уже показался выход. Знакомые сталагмиты фонарей, знакомые рекламные баннеры, знакомые борода и смеющиеся глаза...

В нескольких ступеньках от меня стоял мой, уже теперь старый знакомый, старичок и хитровато улыбался. Сойдя с эскалатора, он стремительно подскочил ко мне, сунул что-то в руку, пробормотал: «Храни Вас Господь», и также стремительно исчез, растворившись в толпе прохожих.

Ошеломленный, разжав ладони, я увидел маленькую бумажную иконку Святителя Иоанна, Чудотворца Шанхайского и Сан-Францисского — усердного и смиренного молитвенника, заступника всех болящих детей и взрослых.

Больше я никогда не видел этого старичка. Кто он такой, этот поразительный человек? В очередной раз я должен «пройти по его билету», вложенному в мои руки, но куда этот билет, не знаю. Но я твердо уверен, что поездка моя была правильным шагом; чувствую, что что-то в жизни пошло по-другому с тех пор. И очень этому рад.

ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ МОЙЩИКА

Сегодня опять она. Всякий раз, встречаясь с ней, ухожу в глухую оборону. Ни малейшего повода, ни единого лишнего слова. При встрече мне вспомнились строчки из стихотворения одной знакомой поэтессы: «...и эта медленная речь, и это странное вниманье».

Дежурное «добрый день» на проходной, турникет, по лестнице на 2-й этаж. Слева дверь в женскую раздевалку, справа в мужскую. Как-то раз перепутал. Вход в женскую ближе, вот по лени и завернул. Но без казусов, вовремя опомнился.

Шкафчик. Выгружаю свои пожитки. Интересно, что сегодня моя Светулька дала на обед? Потом узнаю, помучаюсь. Пусть будет приятным сюрпризом. Наверно странно, но ее обед всегда приятный сюрприз.

Майка, штаны, куртка, кепка, САПОГИ! 15 часов в резиновых сапогах! Ну, не в первый раз. Эти хотя бы не жмут.

Из духоты раздевалки — в аппаратную через галерею с высокими окнами, откуда уже через край плещет солнечный свет, навевая некое уныние в преддверие жаркого дня. Уборщица моет пол.

— Куда по мокрому идешь? Не видишь?

Перехожу на другую сторону. Мы коллеги по роду деятельности. Нельзя обижать и обижаться.

В аппаратной кондиционер. Полминутки холодка. Расписываюсь в журнале и

вниз, на мойку, к себе. Кто-то в боксе уже есть. Юрка. Он каждое утро первый. Кто-то еще. Володька. По два рейса у них сегодня. Здравуюсь. Вовка хитро улыбается. Полгода назад мы с ним едва не сцепились. Не хватило только одного неосторожного движения. Хорошо, что не хватило. Теперь вот крепко здороваемся.

Записываю обоих в журнал осмотра, подготавливаю пропуска на выезд с завода. Бланки закончились. Прошу приемщицу распечатать. Сегодня Ирка. Жалуется на моего сменщика-лентяя. Смеюсь в усы.

Обнаруживаю несколько пустых канистр на эстакаде. Уборщица подкинула. Непонятная какая-то. Вещи разбрасывает, моет плохо. Ну ее. Выброшу.

Нужно приготовить моющее средство. Наливаю воду в ванночки. День душный, рукам приятно от холодной воды. Теперь все. Одна ванночка с водой, другая с моющим. В них мою резинки с люков, клапана, крышки патрубков.

Первым подъезжает Юрка.

— Юр! Вчера 783-го не было. Что-то случилось?

— Бочку чинит. Сегодня его тоже не жди.

Минус одна машина на сегодня.

Подсоединяю шланги. Теперь на эстакаду, поливать цистерну пеной. Вспоминаю, что не помыл сливной патрубок и заглушку. Вниз, шланги долой, тру щеткой патрубок. Пена пока разъест жир и грязь с люков и горловин. Снова на эстакаду, прохожусь щеткой и смываю водой. Теперь дело за техникой. Кнопка запускает автоматическую мойку. Минут 20-25 можно провести, присматривая за тем, чтобы мойка не зависла.

— Спасибо, Вовчик! До вечера!

— На здоровье. Жду тебя.

На вторую линию подъехал Володька. Теперь все тоже самое с ним.

Теперь пару часов никого не будет. Можно доделать недоделанное, привести бумаги в порядок, подтянуть гайки, посидеть у Ирки (у нее в будке тоже кондиционер) или просто понаблюдать за жизнью, за миром. Время есть. Суэта начнется позже.

Здесь, в боксе, ласточки свили три гнезда. Из них торчат головки птенчиков. Родители, проделывая головокружительные виражи, подлетают к ним, и, зависая в воздухе, передают им из клюва в клювик завтрак. Затем теми же невероятными траекториями вылетают на поиск новых порций для остальных. Иногда ласточки садятся на пол, чтобы попить из лужицы. В них отражаются облака. Я, вопреки инструкции, выхожу на улицу. Кусочки ваты плывут по голубому небу. Красиво, хочется подольше понаблюдать, но солнце очень яркое. Глаза режет, и я возвращаюсь в «офис».

Мой «офис» — это стул, который я ставлю в боксе за огромной упаковочной машиной, которая уже полгода стоит здесь. Беру сюда свои бумаги и ожидаю новой партии молока. Его сольют, и я буду мыть цистерны.

Меня будит шум двигателя грузовой машины. Генка приехал.

Время обеденное, но есть не хочется; да и рано еще. Мне работать до поздней ночи. Сейчас покушаешь, потом будешь мучиться. А все-таки интересно, что же сегодня положила на обед Светулька?

Начинается суэта. В боксе уже пять цистерн, на улице еще. Здравуюсь с водителями, перекидываемся фразами. Хорошо, когда нормальные отношения между людьми. А было ведь иначе.

Я странный — необщительный, в себе. Это отталкивает. Вдобавок, поначалу так был сконцентрирован на работе, что порой не слышал и не видел окружающих. Такое не может нравиться. Теперь немного расслабился. Да и ребята привыкли.

Беготни много. На эстакаду — с эстакады, на машину — с машины. Шланги, резинки, клапана, пенная станция, микробиологи, журнал осмотра, пропуска...

Между машин в приемку пробирается молоденькая девчушка. Из лаборатории кажется. Каждый раз приветливо здороваётся, улыбается, что-то спрашивает. Лет бы 20 назад... Вспоминаю свой заботливо приготовленный и упакованный термосок. Нет! Не нужно никаких 20 лет назад. У меня есть все, о чем можно мечтать.

Есть хочется. Пока сливаются большие цистерны, сбегая покушать. Вверх по лестнице. Чем ближе, тем сильнее голод. Лечу. Что же там в баночке? Сегодня вареная картошка с умопомрачительными котлетами из индюшки. От одного вида котлет активно выделяется слюна. Маленькими кусочками, но быстро. До конца не доедаю, оставляю себе мечту на поздний вечер. Еще не насытившийся, но уже с утоленным голодом иду назад.

Осталось недолго. Машины остались только большие. На них лазить не нужно. Пока они моются, выхожу на воздух прощаться с остывающим днем. Стемнело уже. Виден лунный диск. Он слегка прикрыт облачками, которые подсвечиваются отраженным его светом. Выглядит зловеще, но очень красиво.

Теперь можно немного почитать. Пару дней назад сломалась электронная книга. Очень расстроился. Сегодня тайком пронес томик И. С. Шмелева. Какой же это кайф — читать бумажную книгу! Я стал ощущать события не только через слова и предположения, но и осязать их пальцами, перелистывая и разглаживая страницы.

Рассказывал ребятам, что читаю. Одни ушли, другие зевают. Двое слушают. Я видел их пару смен назад с книжками в руках.

Совсем уже темно. Луна еле-еле плывет по черному небу. Она тоже устала.

Вот и последняя машина. Последнее нажатие на кнопку автомойки. Теперь промыть ванночки, убрать ведра, закрыть задвижки, протереть пол, сложить бумаги стопочкой и записать в журнал передачи смен ЦУ для сменщика-лодыря.

Едва двигая ногами, поднимаюсь к галерее. Здесь тоже темно. И это хорошо — не видно усталости, грязной одежды и радости от окончания смены.

Отмечаюсь у сменного мастера и через пару минут скидываю сапоги.

Надо не забыть ничего.

Турникет, и все уже за плечами.

Прощайте все.

Любящие и злорадствующие, понимающие и непонимающие.

Прощай, «медленная речь и странное вниманье». Надеюсь, что мы больше никогда не встретимся. Но как знать...



Александр Мошна
(Украина, г. Харьков, пос. Песочин)



БЕЗЫМЯННОЕ КЛАДБИЩЕ

Член Межрегионального союза писателей, Всеукраинского творческого союза «Конгресс литераторов Украины». Лауреат литературных конкурсов. Автор книги «Ощущение свободного полета». Публиковался в журналах Украины, России, Белоруссии. Ряд миниатюр и рассказов переведен на немецкий язык.

Случилось мне как-то побывать в одной деревне. Там я услышал от сельчан странное словосочетание — «безымянное кладбище». Меня это заинтриговало. «Безымянная могила», — это понятно. Но чтобы целое кладбище в наше время, да еще в такой глухомани, и вдруг числилось в безымянных — несколько непривычно. Захотелось самому его увидеть и узнать причину такого странного названия.

Достаточно было лишь на расстоянии взглянуть на кладбище, чтобы сообразить — здесь кроется какая-то необычная история. Необычность заключалась в том, что сельское кладбище полностью усеяно было новенькими деревянными крестами. Такое впечатление, что поселившиеся навечно договорились однажды и поспешили все вместе сойтись почти одновременно. Свыше тысячи крестов вытянулись рядами, как солдаты на плацу, и замерли.

Но стоило подойти вплотную, как становилось очевидным, что кладбище очень старое. То тут, то там возникали чуть заметные холмики. Правда, видна была заботливая человеческая рука — кто-то пытался придать могилкам надлежащий вид.

Вот история, которую мне рассказали доброжелательные сельчане. Однажды, пять лет назад, жители деревни были удивлены. Неожиданно на старом кладбище, где вот уже лет пятьдесят никого не хоронили, вдруг возникли два новеньких деревянных креста.

«Кто-то умер?» — спрашивали друг друга в недоумении. А местное начальство подолгу службы также жаждало знать, что тут у них под носом происходит.

Но потом страсти улеглись. Оказывается, кто-то из местных видел, как приезжий закапывал кресты. Более того, разговаривал с ним. И тот, кто заглянул в деревню, был ни кто иной, как бывший их односельчанин Василий.

— Не могу больше, браток, — жаловался приезжий, — душа болит, тянет на родину. Вот сколько думал приехать, поставить кресты на могилы родителям, да все недосуг. Все торопился куда-то. А если спросить: куда несешься по жизни, сломя голову, так нечего и ответить. Вот вопрос-то!

Погоревал мужик еще немного, а дальше заторопился на поезд и пропал на год. Потом объявился. Вкопал еще два креста, рядом с теми.

— А эти зачем? — спрашивали его.

— Сомневаться уж начал. А вдруг маленько спутал. Шутка ли, сколько лет про-

неслось. И получится: если проморгал — обидел своих родителей. Пусть еще два будет для верности.

— С такой математикой, земляк, ты все кладбище устелешь своими крестами, — закинул кто-то из деревенских. — Правда, темп у тебя слишком медленный. Через год по два креста — по всему видно, не успеть тебе.

Это он, конечно, зря сказал. Приезжий как-то странно посмотрел, ничего не ответил и опять заторопился на поезд. А через неделю заявился уже с тремя крестами и стал их закапывать.

— Ну ты, академик, даешь! Опять маленько засомневался, что ли? — улыбаются сельчане.

— Теперь надумал поставить по кресту всем, кто здесь лежит.

— Ну, это ты зря стараешься, приятель, — машут руками сельчане, — начальство планирует старое кладбище сровнять бульдозером, а на его месте разбить парк.

— Знаем мы эти начальства, — спокойно ответил мужик. — Как только открыли новое кладбище, еще тогда, если помните, грозились на старое загнать бульдозер. Прошло где-то пятьдесят лет, а еще и не чесались. Теперь и подавно не снесут.

— Это почему же не снесут? — задетые за живое, что какой-то временщик раскомандовался. — Обязательно снесут.

— Нет, — упрямылся приезжий, — теперь не снесут.

— Да почему не снесут? — уже не на шутку закипает народ.

— Если будут стоять кресты на могилах, по закону не положено.

Собравшиеся не знали, как оно на самом деле, но на тормоза нажали, неуверенно согласившись с таким поворотом, и уже миролюбиво:

— Ну ты и надумал, Василий. Это же сколько здесь работы, поди, одному и не управиться.

— А я не один, — отвечает Василий. — С Божьей помощью справлюсь.

— Оно-то, конечно, так, — соглашаются собравшиеся, — но и груз-то тяжелый взвалил ты себе на плечи.

— Ничего, — утешал приезжий, — было б дело угодно Богу, помаленьку будем двигать.

Сельчане помотали головами, побряхтели, да с тем и разошлись.

А Василий развил бурную деятельность. Проходила неделя — и на кладбище появлялись еще три новых креста. Летели месяц за месяцем, и деревенские окончательно расположились к мужику и уже, завидя его за работой, непременно приветствовали фразой: «Бог в помощь!» Это так вошло в обыденность среди деревенских, что однажды проходила мимо какая-то малявка и та пропищала: «Бог в помощь!»

Приезжий регулярно по субботам продолжал навещать деревню, делая свое дело. А через год опять удивил односельчан, и те по второму кругу заговорили о нем. Виданное ли дело: из города припер машину крестов, наверное, не меньше трехсот штук, попросился на квартиру, и целый месяц своего отпуска ухлопал на кладбище.

— Упорный, — уважительно кивали головами сельчане и добавляли:

— Этот своего добьется, будьте уверены.

И Василий продолжал добиваться своего три года подряд. И добился все-таки. Теперь кладбище не узнать. Напоследок выкопал могилу около своих родителей. Для себя поставил высокую оградку, чтобы никто случайно не свалился в нее, да еще сверху сеткой заварил и укатил себе в город.

Два года спустя Василий умер и, по его завещанию, привезли его на родину. Похоронили около самых близких ему людей. Если раньше кладбище в деревне называлось безымянным (стоит лес крестов и ни одного имени), то, после смерти своего односельчанина, все чаще теперь зовут — кладбище Василия.

Стоял я у ограды, и упорно размышлял: кто здесь погребен? Чудак, которых много по нашей земле раскидано, или большой грешник, что таким вот странным образом, как нам кажется, замаливал свои грехи? Или здесь налицо маленький христианский подвиг?

Но вот только начинаешь серьезно задумываться, мерить по большому счету прожитую жизнь, и мысли твои застают тебя в глубоком недоумении. Пытаешься разгадать эту непостижимую тайну — в чем смысл жизни? — и беспомощно откатываешься назад. Стараешься осилить простые, казалось бы, вопросы, а столкнешься — глубина бездонная. И ты уже чувствуешь себя песчинкой в этом мире и оглядываешься на свое прошлое в растерянности, и вздрагиваешь, и с надеждой поднимаешь глаза к небу...

Полвека прожил, а оправдать свое присутствие на земле — нечем. Хоть бы за что-то зацепиться. Может быть, пора уже и мне искать свое безымянное кладбище и спасать свою душу. Только не опоздать бы.

